

Татьяна Шапошникова

Созданы друг для друга

Повесть

1

Катя понимала, что немилосердно тянет с выздоровлением. Будучи врачом, она знала, что здорова, но всячески оттягивала наступление момента, которого так ждали ее родные и те немногие из друзей, еще не забывшие ее после того, что произошло: когда она понемногу, шаг за шагом, начнет возвращаться в прежнюю жизнь. Возвращаться к ним. Надо сказать, что сама себе она напоминала пациента из травматологии после масштабной автокатастрофы: на ноги встала после нескольких месяцев полной фиксации в хирургической кровати — и застыла в нерешительности и беспомощности: сделать этот хрестоматийный первый шаг или все-таки не стоит? Рухнуть обратно в койку?

Не следовало вставать — вот что.

Нет, родные и друзья пока еще не знали, а вот она знала, что никогда больше не вернется. Но как объяснить им — двадцатисемилетнему сыну, тринадцатилетней дочери, — что она не способна стать прежней, и ей просто ничего другого не оставалось, как продолжать симулировать.

Поначалу Коссович взял на себя абсолютно все. Он вместе с ней ел, спал, менял ей белье, причесывал, следил за одеждой, обувью, настаивал, чтобы она принимала ванну — и при этом крутился где-то поблизости: контролировал. Просто поразительно, как мгновенно в их квартире на Непокорённых сломались задвижки в туалете и ванной, а потом друг за другом стали исчезать колющие и режущие предметы — Коссович тоже свою профессию знал на «отлично»! И ходил он в первые недели с ней вместе. Повсюду. За руку.

После приема пищи подсовывал ей «таблеточки». Катя мотала головой:

— Не нужно. Я справлюсь.

Она бы, может, и попробовала эти «таблеточки» — узнать бы, чем всю жизнь потчевала своих подопечных, — только ей претил сам факт, что Коссович вот точно так же в свое время протягивал точь-в-точь такие же «таблеточки» своей жене, а потом и дочери.

Шапошникова Татьяна Викторовна родилась в Ленинграде. Редактор, переводчик, прозаик. Окончила Северо-Западный институт печати. Печаталась в журналах «Звезда», «Аврора» и др. Лауреат премии журнала «Звезда» за 2016 год. Автор сборников рассказов «По чёрным листьям» (М, 2017), «Последний аргумент» (М, 2018). Живет в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Чтобы «справиться», в ход пускалось белое сухое вино — почти каждый вечер. Но дозу свою она знала, спиваться не собиралась. Скорее, наоборот, она искала способ обрести некоторое равновесие, чтобы возобновить работу мысли: необходимо додумать кое-что очень важное (оно было, это важное, оно сидело у нее в голове, она ощущала его почти физически), но пока она не могла ухватиться за это столь необходимое, основу основ, облечь ее в слова и вывести, так сказать, на печать — увидеть глазами: мозг не слушался, а с эмоциями что-то случилось, они больше не захлестывали, как когда-то, не били через край, не побуждали к поступкам — смелым, дерзким, отчаянным. Пока думалось только отрывочно, фрагментарно: всё вместе в картинку не собиралось, нужные мысли не находились, сколько бы она их ни искала. Правда, она не слишком торопилась.

Со временем, понемногу, Коссович стал «доверять» ей — оставлять одну. В конце концов, он вынужден был выйти на работу, необходимо было кормить семью. И ей приходилось подолгу оставаться одной. Правда, он и тогда ее контролировал — звонил каждые два часа. А мог нагрянуть среди дня на обед, зажав под мышкой пакет с фастфудом.

Пользуясь свободой, Катя принялась разнообразить свое существование. Нет-нет, она вовсе не утратила интереса к жизни: то, что зовется скукой, тоской, одиночеством, ее, как ни странно, совсем не тяготило — она отдыхала, когда оставалась одна.

Это только в самом начале, выпроводив Коссовича, она ложилась на диван и часами глядела в потолок. Изучала на белом полотне вмятину, оставшуюся от малярных работ, желтоватое пятно после какой-то протечки, трещин, отлетавших от него по касательной, свисающую с потолка нитку пыли. Она начинала раскачиваться, эта нитка, если приоткрыть форточку. И тогда Катя глаз с нее не сводила, словно та была не досадным упущением хозяев дома, а рыбкой с золотистым плавником в потолочном аквариуме.

Теперь же Катя норовила с утра, вслед за Коссовичем, выскользнуть из дома, сесть в любой понравившийся автобус — все равно — и ехать по неведомому маршруту до конечной, и там долго гулять по каким-то окраинам, где панельные дома в конце концов заканчивались и начинались перелесок или промзона, и уж только потом, достигнув *края земли*, повернуть обратно: на табличке какого-нибудь дома прочитать название улицы и вызвать такси.

Могла зайти в районную библиотеку и там долго, почти целый день, листать журналы по ландшафтному дизайну. Могла часами сидеть в кафе и пить кофе, уставившись в книжку и лишь иногда переворачивая страницы. Могла сходить на бесплатное пробное занятие по кройке и шитью, познакомиться с мастерицей (и тут же забыть ее имя-отчество), посмотреть на машинки, на девушек и женщин, пришедших сюда вместе с нею, чтобы научиться шить, поулыбаться им в ответ.

И это было хорошо. Никто не лез к ней с вопросами, никто не знал, кто она и почему тут. Никому не было до нее никакого дела.

В своей квартире она появлялась чаще уже вечером, предварительно насидевшись с Коссовичем в машине у подъезда, выжидая момента, когда никого из соседей не будет в радиусе пятидесяти метров. Тогда она быстро выскакивала из машины с зажатым в пальцах ключом, не смея хлопнуть дверцей (а может, инстинктивно оставляя ее незакрытой, чтобы проще было впрыгнуть обратно — если что), опрометью кидалась на свой второй этаж и почти врывалась в квартиру, замирая от ужаса, потому что ясно слышала, как на площадке третьего этажа кто-то распахнул дверь, захлопнул ее, прошелся по площадке и уже шагнул на лестницу... Дома она сразу же проходила в кухню, садилась за стол, ей придвигали тарелку, и она ела, делая вид, что не замечает

на лицах матери, дочери и сына одного и того же вопроса: когда? Когда она к ним вернется? Когда будет жить вместе с ними? Начнет решать с ними их проблемы? Ну или когда, в конце концов, швырнет эту тарелку в стену, ее содержимое вязкой массой медленно потечет по обоям, и она закроет лицо ладонями и шумно разрыдается?

Никто не знал, даже Коссович, но Катя ни единой слезы не пролила в то утро, которое изменило до неузнаваемости все вокруг, — ни в тот день, ни после. Должно быть, такова была ее природа: она помнила, что в последний раз плакала, когда родила Полно, своего третьего ребенка, а Коссович не слишком-то торопился записывать ее на себя — не то что уходить от своей идиотки-жены. Так, даже не заплакала, а всплакнула для вида. Плакала она навзрыд, она хорошо это запомнила, в Крыму, когда ей было семнадцать и она прощалась со своей первой любовью. Стоял последний день лета: он уезжал в Симферополь в ПТУ, а она вместе со своими интеллигентными родителями, делающими вид, что им ничего неизвестно о первом романе в жизни дочери, возвращалась в Ленинград после очередного отдыха под Карадагом.

То необъятное, оглушающее и темное, что захватило и поработило ее, не могло излиться слезами. Теперь с ней происходило другое. Она плакала по заказу, как актриса, но что примечательно, заказ этот исходил от нее самой. Иными словами, плакала она сама для себя. Без зрителей! Вечерами в квартире на Непокорённых, когда Коссович задерживался допоздна, занимаясь частной практикой на дому у пациентов, она вываливала на ковер семейный альбом — свой или Коссовича. Слезинки начинали щекотать ресницы в конце второго бокала «Виуры» — и было все равно, на кого она глядела в тот вечер, на своего Зайца или на его Селёдку. Дальше все зависело от количества спиртного. Эта выпивка по сути являлась для нее процедурой. Думать все равно не получалось, но подобной терапией она поддерживала в себе то некое свойство, которое в прошлой жизни ее друзья и близкие называли, кажется, человеческим теплом — в переносном смысле, разумеется. А может, ввали.

Время от времени Василин строчил пулеметной очередью в экран Катиного телефона, небось целясь Кате в самое сердце: «Ты сука-сука-сука-сука-сука-сука-сука»... Она настолько привыкла к этим всегда одним и тем же посланиям, что уже давно не воспринимала их. Они просто говорили ей о том, что Василин все еще жив и что в данный момент он находится в запое никак не меньше трех дней.

Вот это, пожалуй, и все, что связывало ее с прошлым.

Не зная, как вести себя, все еще упрямо желая выиграть для чего-то время, она и продолжала тот образ жизни, который освоила последние полтора-два года. В чужой квартире, с сумкой и чемоданом, тем самым, из Дублина, будто только вчера из аэропорта. Коссович заново покупал ей какие-то вещи, предметы гигиены, но все они легко терялись в недрах чужой квартиры. И у нее по-прежнему не было ничего своего. Но ничего и не нужно было.

Однако, похоже, все-таки наступал конец ее привычному бездумному существованию. Известие о том, что девятнадцатого, кажется, числа (она не переспросила) прилетает Селёдка, всколыхнуло Катю больше, чем ей бы хотелось. Селёдка, что бы она ни сделала, что бы ни сказала, даже просто посмотрела (хотя нет, «просто» смотреть на Катю она не смотрела, она всегда смотрела так, словно хотела убить ее — и не только взглядом) — это было всегда потрясение. Событие, скандализирующее всю Селёдкину семью.

Но Катю ведь больше ничто не могло потрясти — после того, что с ней случилось? И все-таки Селёдка должна была ясно увидеть, что Катя уничтожена — только так Селёдка обретет второе дыхание и сможет улететь обратно в свой Лондон, до следующих каникул. В свои двадцать один та еще не понимала, что Кати и так уже не было. Приходилось делать вид, что есть.

2

Значит, Селёдка... А Катя-то в последнее время совсем осмелела. Расслабилась. Повадилась снимать квартиры посуточно в высотках. На одиннадцатых этажах.

Выбирала на сайте квартиру с лоджией, бронировала, в нужный час встречалась с хозяином, делала вид, что осматривает, платила, выслушивала ценные указания, а когда дверь за хозяином захлопывалась, подкрадывалась к лоджии, открывала окна и, облокотившись на подоконник, смотрела вниз как замороженная. Часами. Устав смотреть на улицу, придвигала кресло к окну и глядела то в небо, то на раскачивающийся на ветру тюль.

Да, это был плохой симптом, она знала это как никто другой. И она тщательно скрывала эти свои похождения от Коссовича.

Внизу было интересно. Многоуровневые гаражи, сверкающие шлагбаумы, блестящие машинки, веселые разноцветные детские площадки, набережная, синяя на солнце полоска воды, но под окном — обязательно асфальт — новехонький. Все крохотное, чистенькое, игрушечное с такой-то высоты.

Она возвращалась к островку асфальта под окном и думала о том, что станется с человеком, если ему вступит в голову броситься вниз. О том, как выглядел ее сын, прыгнувший с одиннадцатого этажа. И думать об этом можно часами. Никогда не надоедало. Сколько крови было на асфальте, как именно пробит череп и сбиты кости, что осталось от лица и как его смог опознать вечно пьяный Василий? Как назавтра выглядела черная лужа крови? Послезавтра? Через неделю? С ума это ее не сводило, как ни странно.

...Они с Коссовичем кочевали по провинциям Ирландии, катили и катили в каком-то минивэне с экскурсионной группой, когда во время очередного перекура зазвонил телефон и в окошечке высветилось: «Василин». Подозревая, что тот, как всегда, пьяный в стельку, так и не смирившийся с присутствием в ее жизни Коссовича (уже много лет оформленный к тому времени развод для Василина был ничего не значащей бумажкой, которую он прилюдно разорвал в клочья и втоптал в песок в своей обычной манере поморского мужика, — всегда прибавляла Катя к рассказу об этом эпизоде), — она не стала брать трубку. Тем более, что Василий отлично знал, где она и с кем. Хотя, может, и забыл в подпитье. Через какое-то время ей позвонила дочка, и тут что-то случилось со связью: ничего было не разобрать, кто-то ревел, выл и, кажется, икал — Катя органически не переносила истерик. Но потом, когда на том конце невидимого провода вдруг стало тихо, близко-близко возник голос матери и отчетливо произнес, как отрезал, что их Алёша покончил с собой, похороны в субботу.

Катя опустила прямо в изумрудную траву посреди достопримечательностей под открытым небом — мимо нее проходили смеющиеся попугайчики, кто-то открыл большую бутылку кока-колы и, подмигнув Кате, кивком предложил угоститься. Катя отвернулась. Потом, стоя спиной к ветру, она трясущимися руками нажимала на кнопки в телефоне, чувствуя себя как в дурном сне, когда необходимо, например, бежать, чтобы спастись, но ноги отказываются, и потом все-таки накрывает догадка, что это сон, а не явь, что это не всерьез... Кажется, она пыталась набрать Алёшкин номер.

Катя не поверила им: дочери-подростку и матери-старухе.

Зато Коссович поверил. Он сразу же переговорил с гидом, взял Катю за руку и повел ее через одинаково зеленые поля на трассу, чтобы двинуться автостопом в обратном направлении. Потом в каком-то поселочке Коссович купил билеты на автобус в Дублин, и уже вечером того же дня они стояли перед огромном табло в

аэропорту. Рейса, конечно, вот так сразу, немедленно, на Санкт-Петербург не было. Коссович связался с всемогущим Аркадием: была одна возможность, на послезавтра, с двумя пересадками, но билет стоил больше, чем весь их тур по Ирландии на двоих. Всемогущий Аркадий моментально сделал перевод.

Оглушенная, вне времени, Катя сидела в номере на постели, не сдвигая белоснежного покрывала, потом в зале ожидания, потом в аэропорту, и еще, а когда ее последний самолет уже стал кружить над Пулково, вдруг поняла, что домой не поедет — поедет на Непокорённых к Коссовичу (ключ у нее был), телефон выключит и на похороны завтра утром... не пойдет.

Она хорошо помнила, как дотянула до вечера следующего дня — с ногами в кресле гостиной и с выключенным мобильником в потных ладонях. Не расставаясь с телефоном ни на минуту, она смотрела в его выключенный экран и иногда — в черный экран телевизора напротив нее. Для того чтобы получить известие от Коссовича, мобильник все-таки пришлось включить — и на нее градом обрушились сообщения. Она не читала — скорее-скорее пролистывала, боясь их как огня, но глаза все равно выхватывали имена (очень много имен) тех, кто имел ей что-то сказать по поводу случившегося. Через несколько дней, включая трубку, она научилась удалять сразу все, что накопилось за сутки на этом маленьком, но таком опасном аппарате, не читая, и сама звонила Володе и — изредка — дочери. «Я сама позвоню», — говорила она всем: Володе, дочке, матери, сыну. Все другие больше не имели к ней никакого отношения — так она решила.

А потом, примерно через неделю, купила себе новую сим-карту — когда догадалась дойти до стекляшки ближайшего оператора. Теперь ее новый номер знали только Коссович, сын, дочь, мать и Елена, подруга еще с института, самая близкая. Позже до него докопался, конечно же, и Василий.

Василин был человеком эсэмэс: звонил он редко, все больше писал, так уж повелось с начала эпохи сотовой связи, когда звонки еще стоили дорого и люди жили в мире моментальных спутниковых сообщений, кидаясь к телефонам, слышав заветный сигнал. Так что все эсэмэски у Кати теперь были одинаковые, от одного и того же абонента: «Ты сука» и «Я тебя убью». И никаких больше субботних информирований из супермаркета о распродаже свинины, окорочков со скидкой тридцать процентов, никаких напоминаний успеть выбрать себе что-нибудь из осенне-зимней коллекции магазина такой-то марки.

По поводу похорон она поговорила лишь один единственный раз с Еленой — только несколько слов. Но все было ясно и так. Катя словно видела этот экшн своими глазами. Василий, тряпка, на похороны явился качаясь, распугал всех Алёшкиных друзей, потребовал открыть гроб... Ему открыли. Он припал к тому, что скрывалось за атласом и парчой — и отдавать сына не собирался. Елена, заручившись поддержкой присутствующих мужчин, потребовала прекратить «этот кошмар»: Василина подхватили сразу несколько рук и оттащили. Последнее, что, видимо, отпечаталось в его воспаленном мозгу и что он без устали перебирал в своих последующих бесконечных откровениях с посетителями рюмочных, так это то, как Поля подошла к еще открытому гробу и вложила туда пакетик с чипсами. «Брату в дорогу», — обливался пьяными слезами Василий в своих рассказах... Потом Василий, уложенный, словно ковер, в конце автобуса, неизвестно каким образом воскрес, никем не контролируемый прилепился к хвосту колонны, добрался-таки до вырытой ямы, там рухнул и очнулся, лишь когда гроб закопали. Тогда он зашелся ревом и принялся, как обезумевшее животное, расшвыривать цветы и песок, так что побежали за могильщиками — тремя крепкими парнями, и только с их помощью и с помощью новой порции алкоголя Василина удалось снова нейтрализовать.

Да, может, это и правильно, что Катя не пошла на похороны. Василий вполне мог ее убить...

Алёшка заболел в мае, в разгар зачетов. Просто не пошел однажды утром в университет. Катя не придавала этому значения и забыла. Только когда выяснилось, что зачетная неделя прошла и к экзаменам сын не допущен, состоялся неприятный разговор. Сын молчал, пряча от нее глаза, и твердил только одно: ему «больше не хочется жить».

О, вот с такими выкрутасами Катя справлялась на раз! Таких пациентов у нее была тьма! Ни минуты не раздумывая (не было времени на размышления: май месяц на дворе, уже начался период отпусков, главный опять на конференции, у самой Кати Ирландия на носу), она определила его к себе в клинику. Поговорила с коллегой, который будет его вести. Все это нервы, нервы и еще раз нервы — перед экзаменами. А как же, третий курс, самая тягомотина. Наверняка и без девицы дело не обошлось... Так говорил коллега. Катя считала точно так же. И улетела, как было запланировано, с Коссовичем в Ирландию — все равно своих не лечат. Да и чем она поможет Алёшке, если останется?

Накануне отъезда позвонила Василину, объяснила ситуацию, и он обещал навещать сына каждый день, в очередной раз обругав Катю сухой, которая не в первый раз уезжает, бросив больного ребенка на произвол судьбы. А когда Алёшку выпустили, как водится в психиатрических клиниках, домой на выходные — Василий отъехал по делам фирмы, кажется, в Иматру, всего на несколько часов... И в этот день для Кати почему-то все закончилось.

3

Селёдка... Впервые Катя увидела дочку Коссовича, когда той только-только исполнилось восемь. Катя уже родила Полю, Василий от нее съехал и подал на развод, и Коссович принялся открыто жить на две семьи.

Коссович вез Селёдку через весь город, по пробкам, к какому-то врачу (у девочки были нескончаемые проблемы со здоровьем), а Катю нужно было подкинуть с Васильевского домой. Так они и встретились — в машине. Кате, специалисту экстра-класса, трех минут хватило, чтобы поставить диагноз: расстройство личности у девочки было налицо, причем из тех, которые не лечатся. Вялое, тщедушное тельце, беспокойные черные глаза — и целый букет комплексов.

Коссович сто раз на дню говорил «дочка», имея в виду свою Селёдку, а дочь от Кати как-то не воспринимал. Поля не была «дочкой». Поля развивалась в соответствии со своим возрастом и не имела никаких проблем, а если какие-то трудности и возникали, они вовремя и успешно разрешались. Поле не нужен был массаж в элитной клинике, остеопат с американским дипломом, гомеопат из Москвы, семейный психолог, средства по уходу, выписанные из Испании, двухлетняя подготовка к поступлению в лучшую гимназию города. Требовалось только раз в месяц выдавать Кате некоторую сумму на ее содержание (весьма, кстати, умеренную), а при встрече потрепать девчонку за щечку, сказать «привет» и «ну ты крутышка!» — пожалуй, это все.

Настя была дочкой. Единственной. Долгожданной. Законнорожденной. Центром вселенной, вокруг которой крутилась жизнь героя-любовника Володи Коссовича. Да, Коссович, как ни смешно, действительно явился исключением из длинного ряда хрестоматийных женатиков, беззастенчиво уверяющих свою очередную пассию, что не разводятся «только ради ребенка». Этот не разводился не только из-за ребенка, но еще и из-за жены, потому что «она этого не переживет». И скептически настроенные зрители этой нескончаемой мелодрамы напрасно хмыкали, в конце концов так оно и произошло: жена Коссовича Кати не пережила.

Но именно Селёдка была истинной соперницей Кати, а вовсе не Наташа, ее мама.

На Наташу Кате было наплевать. Наташа была слишком ничтожной как

личность. Она даже не вызывала интереса — не то что сочувствия. Так Катя привыкла думать и говорить, однако... Однако Катя делала все, чтобы Коссовичу с Катей было очень-очень хорошо, а с Наташей — очень-очень плохо. Искусство завоевания чужого мужа к тому времени Катей было отточено до филигранного превосходства и уже не требовало сверхусилий, как когда-то. В ситуации с Коссовичем она использовала все свои трюки, распотрошила весь имеющийся в ней потенциал, невозможное сделала возможным, и все-таки... И все-таки некая злонамеренная сила не выпускала Коссовича из семьи, не отдавала Кате в полное распоряжение. Коссович держался, держался иногда из последних сил — невесело усмехалась Катя и закусывала губу.

Каждый день Коссович возвращался домой и не знал, что выкинет его обезумевшая от ревности жена. То, что жена двинулась по фазе в результате бесконечных измен мужа, сообщало Коссовичу особенное чувство вины и, похоже, именно оно явилось гарантом Наташиного брака — и, одновременно, защитой Коссовича от пресловутого слабого пола в лице Кати... Наташа чувствовала новую женщину в жизни мужа заранее, еще до ее появления, и изводила себя заранее — и мучила мужа заранее. Она все время грозила ему, что покончит с собой, и он всю дорогу лечил ее, а заодно и подрастающую Селёдку — та вообще без истерики дня не могла прожить, используя ее и как защиту, и как нападение, и как необходимую эмоциональную встряску.

А потом, вне всякой логики, так, по крайней мере, считала Катя, когда они втроем прожили с десяток лет, Катя, Коссович и Наташа, — разводиться этот стойкий семьянин по-прежнему не собирался, и Катя уже примирилась с мыслью о том, что ей не удастся пройтись с Коссовичем под марш Мендельсона — Наташа все-таки сделала это. Выполнила свою угрозу.

И сразу же в доме Коссовича заголосила, забесновалась, угрозила самоубийством другая женщина — шестнадцатилетняя дочь. Коссович даже не успел передохнуть.

Селёдка ходила за Коссовичем по пятам и требовала упечь Катю за решетку по статье «доведение до самоубийства». Оповещала всех и каждого в социальных сетях о том, что Катя, доктор Екатерина Александровна Медиевская из такой-то клиники, — убийца, слала и слала без конца письма частным лицам и в организации, и даже накарябала на двери в Катину квартиру масляной краской: «Убийца». Она и до милиции дошла и попыталась подать заявление. (Чтобы нейтрализовать последствия этого обращения, Коссовичу пришлось здорово потрудиться.) Селёдка являлась на Непокорённых в «любственное гнездышко» Кати и Коссовича, трезвонила и стучала без остановки, отец рано или поздно открывал дверь, и дочь протягивала Кате горсть таблеток. Когда же Селёдка обманом проникла к Кате прямо в отделение, где та работала, это оказалось последней каплей. Коссович, за которым послали, в результате этого грандиозного скандала, начавшегося в кабинете заведующего и продолжившегося в холле второго этажа на глазах у всех его насельников и сотрудников, «порвал» с Катей, как этого требовала дочь, взял дочь под локоток, посадил в машину, но повез не домой, а к врачу частной практики.

Конечно, он продолжал встречаться с Катей. «Тайно». Селёдка один день верила в то, что они расстались, другой день — нет: вторая Наташа, они и внешне были очень похожи. Как только дочь окончила школу, он отправил ее учиться в Лондон — ее уровень английского после лучшей гимназии города позволял это. Уровень доходов Коссовича тоже: он сдавал две материны квартиры и три раза в неделю допоздна дежурил у постели с капельницей на квартире какого-нибудь запойного алкоголика или наркомана. К тому же на карточку ему каждый месяц капала зарплата из больницы, где он работал. На собственно жизнь давала мать.

4

Стоило Кате закрыть глаза, как ей грезилась работа. Свой собственный кабинет с массивным столом какого-то породистого дерева и столешницей зеленого сукна, стационарным телефоном семидесятых годов с витым проводом, с цветами в горшках, которые так любила Старшая (Катя не запоминала их названий), на широченных подоконниках, с окнами, выходящими в заросший сад... Раскладывающийся кожаный диван, подаренный заводом, старый тяжелый эстонский шкаф с домашним постельным бельем и парочкой непременно свежесглаженных и даже накрахмаленных белых халатов с синими манжетами... Она и захотела в пятом классе стать врачом из-за такого вот белого халата. Ну а в десятом сообразила, что врач, особенно врач в больнице, — он всегда начальник, в подчинении у которого человек двадцать больных и весь младший медицинский персонал в придачу.

— Кто здесь главный, вы или я? — весело, иронично, смеясь одними глазами, спрашивала она упирившегося напротив нее больного, готового разреваться от несправедливости жизни и личной несправедливости ее, Екатерины Александровны, к нему. — Я, — с нескрываемым удовольствием отвечала она. — Так что идите обедайте, в шестнадцать у вас групповая психотерапия, а завтра еще раз обсудим вашу ситуацию самым подробным образом, но немножко с другой точки зрения.

Эта клиника была для нее больше, чем домом.

Она невесело хмыкнула, вспомнив Василина, который рассказывал всем, готовым его слушать, что она была «психиатром, что называется, от Бога». Будучи уже совсем в тумане, на самой глубине интимных откровений с собутыльником, он сообщал, что именно из-за Катиного профессионализма земля еще носит ее, из-за него, этого чертова профессионализма, ей многое будет прощено *там...*

Недавно она приходила посмотреть на свою больницу. Тайком, не доходя двух домов, остановиться на противоположной стороне и посмотреть из-за угла подворотни на фасад старого здания, проходную, крыльцо, арку с перекрытием во втором этаже, вход во двор... Почти два года прошло, как она взяла отпускные, помахала своему отделению ручкой, пообещала главному подарок из Ирландии — бутылку виски, у нее даже было где-то записано — какую.

Она ни разу не была здесь с того самого майского солнечного дня. Даже не знала, по какой статье ее уволили и уволили ли, и цела ли еще ее трудовая книжка, и где она. Безусловно, весь персонал больницы вместе с главврачом и даже больные, которые, конечно же (конечно!), тоже были в курсе, теперь знали, что она такая же сумасшедшая, как и ее трагически погибший сын.

Почему, ну почему она не смогла заставить себя прийти и уволиться как нормальный человек?! Ведь многие тогда совершенно искренне ей соболезновали, наверняка! Она договорилась бы о каком-нибудь неурочном времени, когда бы ее никто не увидел из врачей, персонала, больных (подруга сделала бы это для нее, и потом она бы вычеркнула эту подругу из памяти, как ту же Елену) — и ей пришлось бы (всего-то!) пройти только через заводом, кадровика и бухгалтера. Максимум.

Но ей была нестерпима мысль о том, что даже эти два-три человека, тщательно подготовив специально для нее взятые напрокат трагические маски и слова соболезнования (искренние, искренние наверняка!), вопьются своими взглядами в ее лицо, увидят ее такую — совсем не победительницу, не уверенную в себе женщину, не красавицу, властную, ироничную, смелую, — увидят и задавят своим соучастием, которое на самом деле никогда не бывает искренним. Не может быть искренним. Не может, и все.

Ей нестерпима была и мысль о том, что в чьих-то глазах она получила по заслугам. «А будь на свете справедливость, ей бы досталось еще пуще!» — с мрачным удовлетворением воскликнули бы они.

Она все еще временами вставляла на несколько минут в телефон свою прежнюю сим-карту. Эти, из больницы, звонили ей долго, много-много месяцев. Еще бы! Такая несурaziца! Не исключено, что они даже приезжали к ней по адресу прописки, просто дети ничего ей не сказали...

Подняв воротник тренчкота, она быстрым шагом прошла вдоль фасада клиники, свернула на набережную и теперь оттуда, из-за поворота, принялась подглядывать за жизнью клиники, в которой проработала двадцать лет. Из проходной выскакивали молоденькие медсестры, новенькие, какие-то незнакомые врачи (откуда они взялись, черт их побери? Это же элитная психиатрическая клиника на четыре отделения, и кого попало сюда не берут — только по знакомству, по согласованию «сверху»)... Больные так же, как и всегда, празднично шатались у арки, заходя в здание через вертушку, либо во двор клиники, а там сразу в калитку налево — в монастырский сад. Значит, знаменитое подворье, с которым они некогда воевали по коммунальным спорам, с его романтически запущенным садом, снова разрешило руководству клиники в определенные часы прогуливать там своих клиентов? Стайка каких-то женщин (о, ей достаточно одного взгляда, чтобы признать в них своих подопечных, а отнюдь не кумушек из числа прихожанок) вспорхнула, щебеча, со ступенек отреставрированного собора, прошелестела мимо Кати, и никто (никто!) не узнал в ней грозной и блистательной Екатерины Александровны, вершившей некогда их судьбы!

А Катя как раз узнала одну из них. «Биполярное расстройство личности по смешанному типу», — писала она ей в карту. Очередная дура, которая возомнила о себе лишнее и никак не желала прислушаться к голосу рассудка. Или хотя бы к голосу супруга, который все не оставлял ее своими заботами вместо того, чтобы давно плюнуть на нее и... Нет, плевала на него она — зубной пастой — и гостила здесь, в клинике, каждый год по два месяца. Железно.

Женщины прошли, оживленно обсуждая какого-то врача, имя которого Кате ничего не говорило, и нового настоятеля подворья, завернули за угол, а Катя, подумав, наоборот, вошла в церковь. Как же она изменилась! Ремонт был, похоже, полностью закончен, храм божий сиял, играя красками, солнцем и светом. Катя бродила по нему, как по картинной галерее, задрав голову.

Неужели правда, все они забыли и Катю, и ее сына, и даже лежавшую в отделе кадров ее трудовую книжку — и никому не было до нее ни малейшего дела?! Ни врачам, ни персоналу, ни пациентам?! Как давно все забыли о ней? Через два месяца после «трагедии» (она не воспринимала это слово в силу своей профессии, оно было для нее пустым звуком, даже теперь)? Через шесть?

Катя вышла из церкви в то время, когда зазвонили к вечерне. Вероятно, пять часов. Точно! Из ворот клиники выплыла бухгалтерша, проработавшая здесь не меньше Катиного, ее рабочий день заканчивался в пять, — и вдруг увидела ее, Катю! Увидела и узнала, потому что слишком уж пристально, по-особенному, она вцепилась взглядом в Катю, а потом, кажется, ахнула и даже шагнула в ее сторону, как будто желала получше взглянуть в ее лицо... Катя метнулась от ее жадных глаз, аханий и вопросов назад на широкую набережную, рванула вперед, обогнала каких-то туристов, а когда обернулась, конечно, никакой бухгалтерши не было. Никто не думал ее преследовать. А может, Катя обозналась? Померещилось со страху?

Всем было все равно. Для всех ее история была окончена два года назад и сдана в архив.

Сдана в архив?

Нет-нет, постойте! Подождите!

Ей же проходу не давали в этой клинике! Одних только «просителей» сколько поджидало ее каждый день на улице перед входом, в вестибюле нижнего этажа, в коридорах, в курилках на лестницах, в галерее-перекрытии второго этажа на пути к ее кабинету и, наконец, на площадке возле самого кабинета! Они просили убрать «ту жуткую таблетку, которая все портит», клянчили дополнительные два сеанса массажа, разрешения съездить домой, перебраться в другую палату. Пациенты, выписанные домой, молили о консультации, выпрашивали рецепт, как будто для этого не существовало врачей по месту жительства! Но больше всего «просителей» было из числа родственников: они уговаривали ее повлиять на положительное решение отборочной комиссии, взывали о помощи при переводе сюда из «настоящей» психушки, в которой творится незнамо что, умоляли о визите в частном порядке, «просто поговорить» с дочерью или сыном, у которых проблемы... Да мало ли о чем они просили?! «Екатерина Александровна!» — эти два слова, произносимые различными голосами и на разные лады, подкарауливали ее всегда и всюду. Они и во сне ей слышались. Больные подходили к ней даже в городе! В кофейне на Невском, где она сидела за столиком с подругой, или в Эрмитаже, где она гуляла с детьми. Один раз к ней умудрились подкатить даже на рок-концерте, где впотьмах, под градусом и в оглушительных децибелах вообще было ничего не разобрать... Но в туалете! Сообразительный парень — он подкараулил ее у дамской комнаты клуба!.. А еще они ей звонили! Всякими правдами и неправдами добывали ее телефон — и звонили! Это было хуже всего, потому что по телефону их речи, торопливые, заискивающие, путаные, порой просто бесили.

Она же была лучшим врачом в этой клинике! Она была богиней этого маленького сообщества на двести человек больных и тридцать персонала. У нее все получалось. Она шла на своих шпильках по коридору в развевающемся халате, расстегнутом на все пуговицы (так рекомендовали психологи в работе с душевнобольными), и все буквально сворачивали шею ей вслед. Неважно: мужчины, женщины, пациенты, родственники, гости.

Она была чаровница, когда сажала больного напротив себя, их разделял только стол (она никогда не пользовалась историями болезней, все бумаги писались ею дома или на суточных дежурствах), и, не спуская с него своих зеленых колдовских глаз, обведенных слоем густых прямых, словно стрелы, черных ресниц, с легкостью, блистательно, всего в несколько ходов, добивалась того, чтобы пациент сам докопался до сути своей проблемы и сам (ну ладно, пусть не сам, пусть вместе с нею) выбрался из лабиринта своего недуга на свободу.

Она была благодетельница, когда состряпывала кому-то освобождение от армии и не брала за это денег, если знала, что платить нечем. Или когда открывала больничный какой-нибудь истерзанной болезнями тетке с копеечной зарплатой, чтобы та смогла передохнуть, отдышаться.

Она была спасительница, когда вдумчиво и грамотно подбирала схему лечения мамаше, чей ребенок погиб под колесами машины, и вызывала ее к себе в кабинет каждый божий день. Через месяц такая мамаша могла есть, через два — говорить, через три — выходить на улицу. Через полгода она уходила из больницы. А через полтора являлась в гости в отделение к Екатерине Александровне — предъявить ей вновь родившегося у нее младенца и, конечно же, плача, поблагодарить «за все».

Она была истиной в последней инстанции, когда давала замученной матерью девке путевку в жизнь, подарив дурнушке парочку модных журналов и отдав свою косметичку с некоторым содержимым. Стареющая девушка преобразалась и иногда (иногда!) ей удавалось вырваться из оков материнской любви. Девушка делала себе стрижку, после которой ее не узнавала родная мама (и, если совсем везло, не пускала на порог), покупала себе новое платье, находила новую работу, создавала семью (или не создавала) — но больше сюда не попадалась.

Она была музой художника, который переживал в стенах этой клиники глубокий творческий и личностный кризис. Платоническая любовь во все времена горы передвигала. Художник выкарабкивался из ямы, а на холсте появлялась мадонна с Катиным ликом. Правда, после выписки из больницы художник возвращаться в лоно семьи не спешил, предпочитая семейному уюту жизнь взаперти в своей мастерской. Катя на какой-то период всерьез увлекалась живописью и дома только ночевала. Но это была уже совсем другая любовь.

Она была любимой женщиной писателя, своего вчерашнего пациента — и становилась прототипом главной героини его романа, а сам писатель — рабом своей неожиданной и всепоглощающей страсти.

Она была стерва и гадина, когда весело потирала руки и спрашивала молодую женщину, оказавшуюся у нее в отделении впервые: «Бойтесь, что муж бросит?» А старые девы, великовозрастные маменькины дочки, нервические дамы за пятьдесят с уже полетевшей соматикой?! Те, что продолжали носиться со своими маменьками, которым в свою очередь было под восемьдесят, лечили их и себя уже практически от одних и тех же болезней и ходили с ними всюду за ручку — Катя презирала их от души! А ведь они, эти неудачницы, которые потом оставались без маменек, одни-одинешеньки на свете, и уже в связи с этим снова и снова проходили лечение у Кати, проживали остаток жизни под грузом случайно оброненных Екатериной Александровной пары-тройки небрежных, но уничтожающих слов. И, кто знает, умирали в конце концов, раздавленные ими.

Она была мерзавка, когда, качая головой, говорила одинокой женщине под сорок, испробовавшей все способы зачать и свихнувшейся на почве бесплодия: «Дети должны рождаться от любви». У несчастной расширились зрачки, и она покидала кабинет только с одним желанием — повеситься.

Она была преступница, когда объявляла поэту или артисту, или музыканту, что «их отношения исчерпали себя и не приносят ей ничего нового». И дальше поэт, артист, музыкант, лечились уже от Кати — в другой клинике, посерьезнее. А Катя передавала подружкам письма и стихи, которые они присылали ей, все еще на что-то надеясь, чего-то ожидая. «Творчество душевнобольных», — произносила она с непередаваемой интонацией, в которой насмешка вполне, впрочем, по-доброму сочеталась с приличной дозой умиления, словно Катя целых полгода проработала в цирке, и только к концу этого срока ее подопечные все же справились с программой и сумели сорвать аплодисменты...

У нее было много ролей в этом театре, и все — главные.

Но не только эти исполненные с блеском заглавные роли являлись сутью ее жизни. Здесь, в стенах клиники, она по-настоящему освоила свою профессию — изучила людей изнутри. Постепенно узнала все их тайны, пороки, страсти, высокие и низменные, самые заветные желания, то, чем они живут изо дня в день. Узнала все об отношениях между людьми — вот что ее сделало сильной, приподняло над миром и позволило благодушно, одними глазами, посмеиваться над горсточками людей, расположившихся в кабинетах на планерке, смеющихся и подшучивающих друг над другом в курилке, сидящих за столиками ресторана на набережной. Она не только по праву должности занимала позицию сильного, но и по праву мудрого! И всегда знала, как поступит тот или иной человек, если на него воздействовать так-то и так-то — пациенты не в счет, на них она только училась, речь шла о полноценных противниках. Она наперед знала их поступки, слова и даже мысли! И это приносило ей несказанную радость, дарило ощущение божества, царящего внутри нее. Богини мудрости. Многие мужчины долгие годы и впрямь считали ее богиней, имея в виду, правда, богиню любви, — но она была богиней мудрости, о чем мало кто подозревал, и напрасно.

И театр этот был ее! И все люди в нем — ее. Особенно когда заведующая разезжала по границам, а вторая врач сидела дома со своим вечно болеющим

ребенком. Ее Старшая, две процедурных (больные звали их за глаза Толстая и Тонкая — обе Анны Петровны) с графиком два через два, сестра-хозяйка с необыкновенно прямой спиной, словно ее только что треснули по этой спине палкой — выпученные неживые глаза на рыбьем лице усиливали эту иллюзию, — четыре постовые, четыре палатные — сутки через трое. Санитарок вот у нее не было: часы санитарок сестры делили между собой по своему усмотрению.

Буфетчица. Ее буфетчица. О, у нее было изумительное имя: Руфина Георгиевна. Катя сама принимала ее на работу лет этак ...дцать назад. Необъятных размеров, со слоновьими ногами, однако на самом деледвигающаяся точно, плавно и даже как-то танцевально, с халой под косынкой, с зычным в меру контральто, в мгновение ока умеющая переключать его на нежнейшие мелодичные интонации — когда видела начальницу. «Катериночка Алексанна», — звала она Катю нараспев, оставляя для нее все самое лучшее: и горячее, и холодное — с полной сервировкой в буфетной на столике для врачей, а когда Катя должна была есть без нее — всегда накрывала тарелку салфеткой ручной работы. Если она была тут же и Кате приходило на ум за чем-то подойти к раковине с посудой, Руфина Георгиевна со сдержанным достоинством хозяйки теснила ее в сторону, не позволяя замочить рук. Кстати, для рук она ловко подсовывала Кате влажное полотенце, словно студент-медик — профессору-светилу.

До больницы Руфина Георгиевна трудилась домработницей в частном доме, пока его хозяевам не пришла в голову счастливая мысль отправиться по контракту в глубоко провинциальный французский городок Мужен.

— Я потому только и запомнила его название: мужи жена — Мужен, — говорила она.

Хозяева звали Руфину Георгиевну с собой, но она не поехала, объяснив отказ невозможностью оставить родину. Руфина Георгиевна оказалась не в состоянии похоронить себя заживо в каком-то завалищем городишке, которого и на карте-то не сыскать, в котором и поговорить-то не с кем.

Она не принадлежала среде, что называется, тётшиного советского сервиса, но в систему вписалась замечательно.

— Фамилия! — грозно, требовательно, колоритно вопрошала она одиноко мыкавшегося у окошка на раздаче больного, прошляпившего обед.

— Моя? — машинально и испуганно бормотал несчастный, съезживаясь на глазах, не понимая, какое значение в данном случае имеет его фамилия.

— Свою я знаю! — резала Руфина Георгиевна, и у того отвисала челюсть.

Однако не воровала.

Катя гордилась, что из ее отделения никто ничего не выносит сумками, вообще не выносит — ну разве что пару рецептов, пустых, за Катериной подписью и с круглой личной печатью. Или вату, которой снабжали в изобилии, или антигриппин... Сама Катя несла только писчую бумагу, немного, чтобы было на чем написать детям объяснительную в школу.

И только один раз ей не повезло за двадцать лет пребывания здесь: не удалось подсидеть старенькую заведующую, которая собиралась на пенсию еще с тех самых пор, когда Катя впервые переступила порог отделения. Катя честно исполняла все прихоти старухи, одна держала круговую оборону, постоянно замещая ее и исправляя ее ошибки — и вдруг, когда старуху все-таки сразил удар и ее-таки вынесли ногами вперед, на это вожделенное место назначили не ее, уже лет десять исполняющую обязанности заведующей, а человека пришлого, чужака.

С другой стороны, что значит «не повезло»? Этот новый заведующий, не совсем врач, скорее, энергичный делец от медицины, постоянно таскался со своими степенями и сертификатами по комиссиям, по министерствам, по международным конференциям, писал статьи и книги одну за другой — и не только не мешал Кате работать, но и щедро платил ей. Гораздо, гораздо больше, чем она получала раньше.

— Люблю вас, Катерина Александровна, так, что жена скоро из дому выгонит, —

говорил он ей с веселой улыбкой, целовал ей пальчики и вручал в очередной раз букет красных роз с конвертом внутри.

Они действительно сработались. Ни разу он ее ни в чем не подвел.

Да что там! Они даже сдружились. В сочельник одевались Дедом Морозом и Снегурочкой и вместе скакали по этажам, одаривая каждого встречного шуткой, шоколадкой и приглашением на дискотеку в первое отделение. Он потом уезжал к семье, а Катя продолжала лихо отплясывать в кругу персонала и больных.

5

Еще в школе подружки обижались на Катю, что все свободное от учебы время она тратила на «парней». Тогда еще никто из них не отдавал себе отчета в том, что Катя от природы обладала недюжинной способностью нравиться. Поначалу этого и сама Катя не осознавала. Просто ее, озорную, смелую, непоседливую, неудержимо влекло на гаражи, пустыри, промзоны с заросшими рельсами и всякие «заброшки», а там ее товарищами могли быть только мальчики. С ними она лазала по деревьям, играла в войнушку в болотистом березняке возле станции, стреляла из брызгалок (пластиковая бутылка из-под болгарского шампуня с проделанной дыркой в крышке; вода наливалась здесь же, в болоте, или на квартирах участников битвы), громче всех вопила «За родину, мужики!» Могла осенью, пробегая мимо водоема, в котором и летом-то запрещено купаться, на спор с товарищами залезть в воду да еще и вовлечь за собой остальных «на другой берег», в результате чего на завтра вся компания прогуливала школу на законном основании: все заболели.

Набегавшись по гаражам с брызгалками (Убит? — Нее. — Убит!! — Саня мухлюет, ребя! — Не задел! — Ранен! Я видел!), можно было просочиться в булочную на углу вместе с соседским Лёхой, с заинтересованным видом поизучать витрину, а потом, улучив, как им казалось, подходящий момент, схватить четвертинку черного с прилавка — и броситься наутек. Ни разу не поймали, хотя та бабища, продавщица, уже с порога смотрела на них как на врагов народа... А иногда, будто специально, брезговала смотреть — и они удирали, пряча добычу под рубахой.

А еще они с Петькой, одноклассником, «угнали» трактор — водитель оставил кабину открытой и отбежал куда-то, они залезли в нее и... Еще б чуть-чуть — и удалось прокатиться! За этот подвиг оба засветились в детской комнате милиции. Впрочем, без последствий.

Последствия были дома. Оставшись наконец без свидетелей, мать, у которой давно уже чесались руки, в сердцах замахнулась на Катю французской булкой; Катя, зараза этакая, увернулась — мать швырнула элитную булку в стену и весь вечер проплакала на кухне, в голос. Отец сидел за столом в гостиной с газетой «Известия» в руках, уткнувшись в колонку, и долго не прерывал молчания, а когда заговорил, как всегда не повышая голоса, — то просто запретил Кате гулять неделю: из школы домой, из дома — в школу. А потом еще месяца два родители требовали являться ровно в девять, словно Катя какая-то малолетка. С матерью можно было препираться сколько угодно, выторговывая свое, но отец, стоило ему только один раз выразительно взглянуть на часы, — желания отца выполнялись беспрекословно.

А когда им сравнялось четырнадцать, Катя вдруг заметила, что ноги у нее красивее, чем у остальных девчонок, и фигура под школьным фартуком очень ладная, и мордашка не просто хорошенькая, а очаровательная — взрослые так говорили. И она догадалась, почему так сильно не нравятся девочкам — оттого что нравится мальчикам! Это открытие побудило ее сделать несколько основополагающих для жизни выводов. И только потом, много позже, до нее дошло, что девочек, как и мальчиков, тоже можно использовать, и так же успешно: ведь все-таки очень важно, выражаясь языком изостудии, которую она посещала по желанию отца, каким композиционным пятном

ты являешься на фоне своих подруг, причем фон этот, кстати, как и пятно, всегда можно корректировать. С выгодой для себя, конечно.

Но это так, глупости.

На самом деле Катя еще в средней школе решила, что будет врачом. Тогда впервые ее отцу поставили неутешительный диагноз, и Катя вознамерилась стать знаменитым кардиологом.

И поступила-таки в медицинский. Однако в те годы она изучала главным образом физиологию — с мальчиками в общагах Первого меда, Лесопилки, Политеха. Постоянно где-то тусила, бегала на рок-концерты, в кино. С грехом пополам доучилась до пятого курса и вдруг обнаружила, что в интернатуру на кардиологию ее не берут: троечникам и прогульщикам предлагали в тот год акушерскую гинекологию и психиатрию. Ковыряться в женском лоне было противно ее природе, а вот рыться в чужих мозгах, но только шито-крыто, не как нейрохирурги, без кровавых подробностей... Опять же, и ошибки недоказуемы...

На практику ее распределили в стройотряд где-то неподалеку от Усолья-Сибирского. Там она и встретила Василина — импульсивного, пылкого, рискованного, как она сама. Они даже поженились не думая, расписались в первую же субботу по возвращении в цивилизацию, в Ленинград. Если бы их заставили ждать месяц, как всех, если бы не василинская наглость, напористость, обаяние, произведшие впечатление на теток из ЗАГСа (и на Катю), совершенно неочевидно, что свадьба бы эта состоялась.

Только уже через полгода Василин, поселившийся у Кати и ее родителей, стал тяготить Катю. Нельзя сказать, что он разонравился ей, что она разочаровалась или он делал что-то не так, только она поняла, что это большая разница — огненный секс в сибирской избушке с парнем, в которого она влюблена, и присутствие его в ее жизни двадцать четыре часа в сутки — да еще в качестве равноправного члена семьи.

А еще через полгода Катя влюбилась. Как оказалось, по-настоящему. Он был уже опытным доктором в их скворешнике, а она — дурочкой, только-только из института, не способной связать двух слов в телефонограмме, а ее вынуждали надиктовывать их по две штуки, при всех, в ординаторской. Мучительно краснея, она пыталась произнести нужные слова в нужном порядке, они путались у нее в голове, исчезали, она лихорадочно подыскивала другие, и все они никуда не годились, в руках дрожала история болезни, которая совсем не помогала ей, потому что оказывалась «не та!». Мужики, много-много мужиков (всего пятеро на самом деле), устроившиеся вокруг длинного стола, почти после каждой Катиной фразы многозначительно хмыкали, но смотрели каждый в свои бумаги, а стоящая напротив Кати заведующая — безжалостно, через приспущенные очки, прямо на Катю... Наконец Пал Палыч, не выдержав, с другого конца стола начинал громким шепотом подсказывать Кате — но он диктовал не то, не то! Мужики смеялись, заведующая, бросив в сердцах на стол пачку историй, которую до этого прижимала к груди, кричала: «Вы что тут мне устраиваете на режимном объекте?! Вечерняя школа, весна на Заречной улице?!» Телефонограмма была сорвана. Катя, пунцовая, чуть не плакала.

Это потом Катя всему научилась. У него, у Арбенина.

Роман у них вышел головокружительный.

Пьяный Василин плакал в рюмочной, уткнувшись в чье-то плечо:

— Всего месяц я был на сборах, понимаешь?! Месяц! И эта сука подложила мне... — Тут Василин опрокидывал внутрь то, что оставалось в стакане, заказывал еще и, не дождаввшись, засыпал, но и у выключенного у него сквозь ресницы текли слезы...

Сын, названный по моде того времени Димоном, в силу известного закона природы в отношении незаконнорожденных детей, с первых же недель ясно выдавал свое происхождение.

Роман с Арбениным оказался не только головокружительным, но и

продолжительным, что до некоторой степени свидетельствовало о серьезности чувства Арбенина (сама Катя думала только о нем и мучилась почти физически, когда его не было рядом) и о накале страстей в целом и в частности.

Про второго сына, рожденного с интервалом в три года, Катя, «пофигистка этакая», по выражению подруг, независимо пожимая плечами, говорила:

— А я не знаю, от кого у меня Алёшка.

Это была неправда. Алексей являл собой копию Василина, во всяком случае — внешне. И имя свое получил от Василина в честь Человека Божьего. Просто уж очень Кате хотелось выйти за Арбенина. Но Арбенин оказался принципиальным товарищем. Какие только запрещенные вещи ни использовала Катя, как ни клялся Арбенин в любви к ней, какие бы глупости ни вытворял, какие бы обещания ни давал — все равно он каждый вечер, если только они с Катей не дежурили вместе, возвращался, словно лошадь, в стойло.

А потом, сам собой, наступил головокружительный разрыв.

Катя месяцами выгадывала, как ей лучше поступить, но так ничего и не придумала. Ладно второй ребенок, хотя обидно до слез, до истерики, оттого что Арбенин вообще никак не соотнес его с собой, он его не видел и действительно имел основания сомневаться в своем отцовстве, но Димон... Димону шел пятый год — и он ни разу, ни единого разу, не спросил о нем. В ответ на Катины рассказы про первенца, осваивавшего первые ругательства в садике, Арбенин молчал или, того хуже, принимался говорить про *своего* сына. А там обязательно доходило и до *Наташки*. Какой такой Наташки?! Кто это?! Какое отношение она имела к тому, что было у него с Катей?! Катя сменила тактику. Говорила о младенце и обо всем, что связано с ним, а о Димоне, наоборот, ни полслова. Арбенин давал рекомендации относительно маленького, дельные рекомендации — но Димона как будто не было на этой земле.

Ревность, скандалы, выяснения отношений втроем — с его женой, вчетвером — с его женой и Василичиным... Охлаждение временное или напускное — было уже не разобрать... И Катя испугалась. Испугалась, что это всё. Предпоследнее свидание, последнее, потом, при помощи ее слез и изворотливости, последнее... Испугалась так, что прямо на корпоративе порвала с Арбениным и уехала вместе с заведующим девятым отделением. А потом быстро уволилась из больницы, никому ничего не объяснив и оставив Арбенина в недоумении и с обидой в сердце... Впрочем, это решало его проблему под названием «Димон», кажется, навсегда.

В новой клинике, в новом коллективе, среди новых задач и планов, Катя восстала из пепла. И стала тем, чем была последние двадцать лет, — всю свою жизнь.

Что ж. После Арбенина у нее было очень много романов, и среди них довольно яркие. Но только всегда Катю в них любили больше, чем сама Катя. В таком раскладе она видела весьма большое преимущество. Используя его, она оттачивала мастерство матерой хищницы. Обольстить мужчину уже не составляло труда — это и не труд был, а удовольствие: это была ее стихия. Вот пробудить всепоглощающую страсть, которая заставила бы его забыть обо всем, пойти за ней на край света, — совершить то, что оказалось невозможным для Арбенина, — вот на какую вершину она карабкалась в своем мастерстве. И у нее получалось. Почему? Вероятно потому, что, выстраивая стратегию победы, она, сама не мучимая страстью, будучи в ясном рассудке, ни разу нигде не ошибалась, методично и последовательно шла к своей цели, и рано или поздно жертва вязла в ее сетях с концами. Мужчина отдавался ей полностью, без остатка, ни долга перед семьей, ни совести для него уже не существовало. Ведь Катя была, по словам Василина, «потрясающая давалка», для нее не существовало ни критических дней, ни беременностей, ни каких-либо запретных мест — и впрямь необыкновенная женщина. Она дарила мужчинам настолько острые и незабываемые ощущения, что их тянуло к ней снова и снова. Они боготворили ее.

— От хорошей жены муж не уходит, — с милой, доброжелательной улыбкой

повторяла она приятельницам, слушавшим про ее похождения с открытым ртом, и этой спокойной улыбкой, может быть, чуть печальной, она как бы подтверждала правомерность своих слов — истину, которую не она придумала, которую открыли мудрые люди задолго до нее и внесли в историю жизни как данность.

После того как Катя морально и психически опустошала своего противника (а иначе она к мужчинам и не относилась), она давала ему отставку. Но как изысканно! Она плакала и говорила в пространство, забыв про зажженную сигарету в пальцах (дым причудливыми кольцами закручивался в потолок), что не может с двумя детьми уйти от мужа, и просила, нет, умоляла остаться друзьями... Или так: она не способна дать то, что он хочет, но потерять его — свыше ее сил... Так что все они, эти мужчины, так или иначе продолжали присутствовать в ее жизни. Возникали из ее памяти, вытаскивались на свет божий за какой-нибудь надобностью по первому же звонку, а потом снова исчезали на годы.

Василин же, черт его подери, существовал каждый божий день. Он старался не остаться перед Катей в долгу. Глубокой ночью Катя возвращалась домой после бурной личной жизни (дети на даче) — и заставала Василина в их супружеской постели с другой. Или он поджидал ее с бутылкой на кухне — и с рассказом, как провел время с Катинной подругой, в подробностях. Если Катя слушать не желала, поколачивал ее.

Расстаться с Василиным Катя не решалась. Статуса разведенной женщины ей не хотелось. Чья-то жена всегда слаще, чем голодная отчаявшаяся разведенка, готовая повиснуть на первом встречном, кто на нее взглянет.

— Сколько лет живем, столько лет разводимся, — говорила она «в минуту откровенности» новым друзьям, которые знали Василина лишь с ее слов.

Коссович явился последним в ряду Катиных мужчин. На нем она остановилась и, так получилось, никем его уже не сменила. И поначалу все развивалось по уже пройденному сто раз сценарию. Коссович оказался довольно опытным бабником — и при этом стойким семьянином, таким же высококлассным специалистом, как она, как Арбенин, и поработить его было трудно. А еще он по-настоящему нравился Кате. Ей иногда случалось задумываться, следовало ли второе из первого или же нет, но ответа она так и не нашла. Просто, наверное, пришла пора влюбиться еще раз.

И все-таки иногда, глядя на Коссовича, Катя удивлялась причудливости своего выбора: Коссович выглядел таким обремененным, таким трусоватым, даже жалким — дома у него была настоящая клиника, как выражалась веселая медсестрица Светка Казарчик, дослужившаяся в конце концов до Старшей. Иногда являлась мысль о том, что он только с ней, с Катей, и становился пылким, героическим, неутомимым любовником, личностью, способной повести за собой других, стать душой компании, заступиться за слабого, сцепиться с кем-нибудь из коллег на планерке и выиграть это сражение, забрав себе чужого ахового больного и поставив его на ноги.

Смешно однажды получилось на рок-концерте. Катя без боязни появлялась с Коссовичем на публике, она любила вести себя как свободная женщина. Коссович же свободным мужчиной не чувствовал себя никогда. В толкотне на танцполе мелькнули его знакомые, и прямо на глазах Коссович, и без того невысокий, как будто уменьшился в росте, скользнул к черной стенке — и словно вжался в нее. Катя нехорошо усмехнулась про себя — от души смеясь на публике, уже в процессе многократного пересказывания того эпизода.

Но это только добавило жару в погоне за ним. В то лето ей исполнилось тридцать семь, и она решила на еще одного ребенка.

Однако, даже родив Полю, Катя своей цели не достигла. Коссович, ничтоже сумняшеся, жил на две семьи. Мол, и тут негодяй, и там. И тут должен — и там.

Жили они так, жили, и вот однажды наступил такой день, когда Катя перестала вытягивать Коссовича из семьи...

Может быть, она просто научилась его любить?

6

Когда Кате удалось обуздать свою самость, что-то изменилось в глубине ее, изменилось к лучшему. Она вдруг, безо всяких причин, вышла из состояния холодной войны, сбросила с себя ее изматывающую, непосильную ношу, отказалась от каких бы то ни было претензий, плюнула на завоеванные ранее позиции — и вдруг ощутила, как по ее внутренностям будто бальзам живительный растекается: ей правда было очень хорошо с этим человеком, как-то по-особенному хорошо. Взрослые сыновья, подрастающая дочь, еще не старая мать, поселившаяся с ними вместо Василина и готовящая на них на всех, — это была жизнь, ничем не обремененная, нужная, интересная, любимая, — как и работа, — и ведь сколько радости она несла в себе!

Катя с Коссовичем бродили по выставочным залам, заваливались в бани, открывали для себя новые рестораны, ходили на фестивали классической музыки, ездили в Новгород, в Пушгоры.

Они катили на его машине вроде бы за грибами, но дорога их так захватывала, новые повороты, а за ними поля, леса, фермы, хутора, реки, церквушки, — что они уже планировали поездку по Европе на автомобиле.

Под Краковом, по причине того, что их бронь в гостинице таинственным образом испарилась — не иначе как по мановению палочки злого вэб-волшебника, не отрегулировавшего систему онлайн-бронирования, они заночевали в лесу в машине, и за это их арестовала местная полиция. Словно хулиганы, они провели остаток ночи в участке, а следующий день, на пальцах изъясняясь по-польски, потому что никакого другого языка краковская полиция решительно не понимала, — следующий день потратили на то, чтобы уплатить штраф, и по ошибке заплатили его дважды — к вящему удовольствию панов. Приключения поджидали их и дальше: спесивые краковские пейзажи не хотели показывать дорогу, но Катя и Коссович совсем на них не сердились. Смеялись и перемигивались, как студенты, и ехали себе дальше.

Катя отказалась от борьбы за Коссовича, но вот Наташа, жена Коссовича... Механизм, запущенный Катей когда-то, оказался из тех, что не останавливается. И сработал он, когда не ждали.

Катя очень легко пережила Наташино самоубийство. У нее никогда не возникало жалости к слабым существам, а уж суицид вообще расценивался как непростительная глупость. (Пьяный Василин на кухне в половине первого ночи терзал ее по третьему разу, заикаясь: «А если я п-п-покончу с с-собой?») Она отвечала с легкостью, без запинки, ведь она была хорошим специалистом: «Я сумею вытеснить это»). Только досада. Только ненависть — ведь теперь судьба ее отношений с Коссовичем висела на волоске.

Коссович тогда не появлялся у Кати целых семнадцать дней. Он даже Поле не звонил. Он просто выпал из их жизни. Катя, стиснув зубы, считала часы и крепилась, никак не проявляя себя: эта внезапная вынужденная схватка была очень важна, но в то же время Катя понимала, что эта борьба не на жизнь, а на смерть — последняя.

В те дни Катя почти не выходила с работы, набрав себе суточных дежурств. Даже в душ ходила в больнице. Злилась. Ведь она отказалась от борьбы, чтобы не потерять его — и вот что из этого вышло... Она злилась, потому что по всем расчетам на этот раз *должна была* проиграть... Но снова почему-то одержала победу: Коссович не выдержал и позвонил. А потом и приехал. И Катя утешила его. Мастерски.

И жизнь, их жизнь вдвоем, могла бы встать на совсем новые рельсы, если бы не...

Похоронив жену, Коссович только и делал, что занимался дочерью.

Селёдка отказывалась от пищи, не ходила в школу, не встречалась с подругами, не реагировала на новые шмотки и девайсы, валялась целыми днями на родительской

тахте в комнате с зашторенными окнами и старалась не отпускать от себя отца ни на минуту. Одному только богу известно, сколько всего она ему кричала. Катя представляла себе, как Коссович сидел возле нее на стуле и слушал ее, опустив глаза, — и соображал, что из всего этого теперь знают соседи.

Одному богу было известно, сколько раз Коссович ходил в дирекцию школы, как подолгу униженно просил, объяснял, дарил, пускал в ход все свои связи. Сколько денег он извел на домашних учителей...

Через полгода Селёдка вернулась в класс.

7

Некоторое время спустя после своей болезни (надо же, с какого-то момента Катя стала называть вещи своими именами) она заметила, что все время чего-то ждет. Какого-то события, которое никак почему-то не наступает. Время шло, месяц за месяцем, неделя за неделей, день за днем — одно и то же: приготовленный Коссовичем завтрак, кофе с молоком и тосты, «свободное время» в виде валяния в постели, приготовление обеда из полуфабрикатов, звонки Коссовича по часам («Я звоню тебе просто так»), поздний ужин вдвоем, вечерняя гигиена, укладывание в постель любовников, которые давно уже ничего не имели по отношению друг к другу, кроме долга... Но ведь это же еще не все? Должно было что-то еще произойти — так оставаться больше не могло! (Романная фраза, дурацкая, но ужасно прилипчивая.) Могло. В этой жизни и, самое главное, в Катиной жизни, как оказалось, могло случиться все что угодно... Только ничего из того, что приходило на ум, не имело смысла, а смысл в Катиной жизни был во все времена, даже когда казалось, что его нет.

Ненаступление этого события, которое должно было схватить ее за плечи, встряхнуть с такой силой, чтобы слова и мысли перетасовались в ее одеревеневшем мозгу, потом наверняка швырнуть их оземь (вместе с Катей), потому что они никуда не годились и Катя сама тяготилась ими, — но события, которое бы все расставило по своим местам, — превращало Катино существование и жизнь вокруг в бессмыслицу.

Она с растущей тревогой ждала, что этим событием станет приезд Селёдки из Лондона. Селёдки, ожидающей, что Катя вернет долг — покончит с собой. Желательно, на глазах у Селёдки. И наверняка со съемкой на камеру, чтобы швырнуть потом эту бомбу в Сеть.

И только совсем недавно Катю осенило, что «события» не будет, что ждать от жизни больше нечего, кроме... смерти. Оказывается, ни за чем ей не нужно было время, которое она хотела выиграть, и потому вела игру «в большую»: нечего было вспоминать, нечего постигать, нечего совершать! Она ждала ее, смерти, по остаточной слабости делая вид перед кем-то невидимым, что надо что-то додумать, кому-то что-то объяснить, кому-то что-то добавить.

Что и кому она может дать? Сын вырос, она ему не нужна. Дочь ее ненавидит, потому что, когда она была ей необходима, Катя занималась собой и Коссовичем.

На что же она могла потратить время, отпущенное ей?

А ведь она еще могла быть полезной. Потрудиться по специальности. Сколько душ из числа ее пациентов были искусственно сделаны хрониками?! А сколько их, настоящих клиентов, бродило по улицам, рассиживало в учреждениях, вершило чьи-то судьбы? Она же профессионал, она все это видела тысячу раз. Мужчин с ненормальным блеском в глазах, подсматривающих за малолетками. Ребят из хирургии, делающих надрез чуточку больше, чем надо, намеренно задевая почку, — и все это совершенно безнаказанно...

Но пусть даже не работа. Селёдка! Можно объяснить ей, что никакого умысла не было. Необходимо объяснить.

Катя хорошо, очень хорошо знала, как все тогда вышло.

Много лет Наташа сидела на транквилизаторах, нейролептиках и антидепрессантах. Как давно? С тех самых пор, когда Коссович женился на ней, тоненькой, застенчивой, черноглазой девочке, пугливой, как птичка. А женился Коссович по сильной любви и даже страсти, которая полыхала в нем катастрофически оттого, что возлюбленная его оказалась закомплексованной девственницей и на все его настойчивые попытки овладеть красавицей, выплеснуть часть сжигающего его пламени, отвечала отказом. Однако дождавшись свадьбы, Коссович не смог преуспеть в правах мужа еще несколько месяцев. Вне стен спальни новобрачная имела трогательно-решительное намерение исполнить свой супружеский долг, оказавшись же с мужем в четырех стенах наедине, она плакала, царапалась, и в самый ответственный миг Коссович сдавал назад. Жалел. Все-таки он ее очень любил. Собственно, именно в те дни он и узнал, что любит... Убедившись, что жена его больна, — словно хирург, провел необходимую для супружеской жизни операцию. Наркозом послужили таблетки. На этих колесах любви Коссович и въехал рай.

В дальнейшем все свои проблемы с женой Коссович решал с помощью таблеток. Он не был негодяем, и никто из коллег не назвал бы его плохим специалистом. Значит, без лекарств было не обойтись. О маниакально-депрессивном психозе в семье Наташи ничего известно не было. Что ж, такие семейные тайны тщательно скрывались во все времена...

В те последние недели Коссович перевел Наташу на антидепрессант новейшего поколения — одна таблетка в сутки. И Наташа чувствовала себя преотлично. Накануне рокового дня она, перебирая вещи в кладовке, наткнулась на свою зеркалку, загорелась, настроила ее и решила воспользоваться немедленно. Зашла за Настей в гимназию. Смеющаяся, та выпорхнула с девочками. Все вместе они высыпали в парк. Стояло бабье лето — не слишком теплое, но солнце сверкало озорно и весело, золотило все вокруг. Девчонки дурачились, кривлялись, подбрасывали охапки листьев в небо, картинно падали, как подстреленные, на разноцветный ковер. Наташа впервые подумала о том, какие же они красивые в этой новой школьной форме. Начало учебного года: ни юбки, ни жакеты из черного добротного сукна с крупными модными пуговицами в два ряда им еще не приелись, и все комплекты были в безукоризненном состоянии. Кроме того, Наташу всегда завораживало, когда людям нравилось сниматься, а не быть снятыми. Фотографировались, построившись по росту и вытянувшись во фронт — Селёдка самая последняя из четверых. В коротких пальто мужского кроя, без пальто, с букетом из золотых листьев, кокетливо выставив одну ножку на носок, а рукой как бы невзначай чуть отодвинув юбку вверх, и у кого-то оказались видны кружева чулок. И Настя, конечно, мартышка, повторяла за всеми... Раньше было неясно, станет она красавицей или все-таки нет. Слишком узкая, слишком болезненная (безгрудая — злорадно думала Катя). А теперь видно, что уже, пожалуй, красавица. Быстрая, черноглазая, с длинными черными волосами... Только вот слишком беспокойная, и огня в глазах слишком. Улыбки слишком, слез слишком. Всего слишком... Наташа шелкала и шелкала затвором в погоне за сменой настроений этих вчерашних детей, за пластикой и красотой, а придя домой, выложила все это брызжущее великолепие в Сеть (она давно там не была, и ее распирало от чувства гордости за дочь). И подписывала, подписывала без устали: «Моя Селёдка», «Моя Селёдка».

Потом Наташа отправилась по магазинам — захотелось купить Селёдке что-то еще к началу учебного года. И она купила: разные мелочи — ей, себе... Настроение из приподнятого, праздничного, *рабочего*, стремительно шло на убыль, но она даже не

вспомнила про крохотную розовую таблетку. Селёдка уехала к подруге с ночевкой, Коссович якобы возился на даче у матери. Наташа решила не уходить вот так, сразу, из торгового центра, не сдаваться — день-то какой замечательный — сходить, например, в кино. Она там в последний раз была, кажется, с мужем — лет двадцать назад. В кино показывали *жизнь как чудо*, но чем дальше, тем быстрее *ее* собственная жизнь вертелась перед нею бессмысленным калейдоскопом, так что не терпелось остановиться, прервать этот видеоряд. Сойти. Ее затрясло. Она вышла из зала и вызвала такси. Не дождавшись машины, села в трамвай, забыв посмотреть на номер — этот не шел до ее дома. В конце концов добравшись до квартиры, новых таблеток она не нашла, достала старые и приняла сразу две, ведь это была раньше ее суточная доза. Но тут, против ожидания, мозг поглотила тьма, совсем как безлунная ночь — улицу за окном, и вдруг почему-то Наташа всерьез решила, что Селёдке и Коссовичу будет лучше без нее, а для нее лучше... просто не быть, раствориться в ночи, которая теперь была не только за окном, но и в комнате — и внутри нее. Она вытащила какие-то другие таблетки и выпила их все до одной. Она сделала это по наитию. Так поступали старые или больные люди первобытных времен на страницах учебника ее дочери — в последний раз присев к костру в кругу сородичей, они поднимались и шли в лес, чтобы принять смерть от стихии или диких зверей, потому что становились обузой для всех — и для себя тоже...

Но что из этого можно объяснить двадцатилетней девчонке, живущей надеждой на справедливость? С помощью каких волшебных слов Катя могла бы воздействовать на ту наглухо запертую для нее дверь? Да и хотелось ли на самом деле, чтобы ей отворили? Ведь к моменту, когда самолет Селёдки приземлится в Пулково, кажется, девятнадцатого числа, Катя, наверное, выгорит до тла...

В силу житейских обстоятельств Катя заняла место жены Коссовича, по иронии судьбы превратившись в ту самую жену — женщину тяжело больную, которую нельзя тронуть ни единым словом, ни единым жестом, о которой нужно постоянно заботиться. И которую очень сложно любить. И которая, кстати, не может позволить себе выздороветь — ведь иначе муж покинет ее ради другой. Закон жизни свершился.

Для Коссовича смена партнера ничего не изменила: он по-прежнему возвращался домой, не зная, что его ждет. И боялся. И медлил. Его маршрутный лист с адресами алкоголиков и наркоманов все время увеличивался. Поставив капельницу, он не спешил ехать дальше. Дежурил у постели пациента иногда до поздней ночи.

Загадка не поддавалась разгадке в лабиринте Катиных мыслей. Катя заплатила за самоубийство Наташи ненавистью Селёдки — самого дорогого существа для Коссовича. Предала своего сына. Еще раньше, давно, когда полюбила чужого мужа, чем любого из своих детей. И это была любовь? Любовь?!

На этой земле параллельно с нею блуждали три человека, у которых она была в неоплатном долгу: Поля, Василин и Селёдка. Странно, что вина перед Селёдкой в ее глазах превышала вину перед собственной дочерью. Это было несправедливо и необъяснимо, но это было так.

Коссович виртуозно врал Селёдке, что Катя — так, ничто, просто больная женщина, да, грех, да, любовница (бывшая!), но теперь-то ее нельзя бросить, ее надо спасать. Как маму.

— Как мама, пусть она засунет голову в петлю, — отвечала дочь.

Коссович морщился, словно от зубной боли. Всем было известно, что его жена отравилась таблетками.

Событием, которого так ждала Катя, должны были стать те самые картинки из морга и с похорон — вот что! Недостающие паззлы в изображении ее подлинной жизни (той, о которой никто ничего не знал) — снимки, от которых она отказалась, и теперь их при всем желании не выкрутить, потому что их не было, не существовало в природе

вещей: гроб и то, что не видел никто, кроме, наверное, Василина, — раскроенная голова, незакрывающийся глаз, черные запекшиеся губы. Не было опускания гроба в могилу, песочного холмика, заваленного цветами выше человеческого роста, длиннущего поминального стола с фото в черной раме, десятков, сотен людей, подходивших к ней в порядке живой очереди, чтобы выразить словами невыразимое, — всего того, что она никогда не видела наяву, но много раз проигрывала внутри себя в различных вариациях. А через год — осевший холмик, памятник, не отличимый от соседних, — и людей совсем никого.

8

Итак, она не явилась на похороны собственного сына.

Тогда ей даже в голову не пришло, что этим поступком она как будто оставила себя навсегда там, в Ирландии, чужой, непонятной, никогда не нравившейся ей стране. Как же она додумалась до такого?! Неужели ее хваленый ум ей изменил? Или у нее попросту не хватило времени сообразить, что к чему? А она-то была уверена, что все рассчитала как надо.

Ну почему, почему она не пошла на похороны собственного ребенка?! Только так она мыслила сохранить себя, остаться прежней, выжить и прожить ту жизнь, которая ей отмерена, не дать развалиться целое на части, чтобы потом не собрать — или мучительно собирать годами и в итоге получить несостыковку. Чтобы не погибнуть. Чтобы оградить себя, наконец, от различного рода конфликтов души и тела, которые обязательно рано или поздно проявят себя — уж ей ли не знать. Это было неправильно, рассуждала она — увидеть свое дитя мертвым, в гробу, увидеть, как чужие люди, по долгу службы, утилизируют разлагающийся биоматериал ее сына.

О, они всю жизнь были занозами в ее жизни: мамыши, у которых ребенок утонул в бассейне, ушел на тхэквондо и не вернулся, наступил на оголенный электропровод, заполз в построенную вместе с ребятами пещеру из песка «что-то подправить» и конструкция рухнула, поехал на соседской машине и водитель не справился с управлением... Сколько раз она просила завотделением не давать ей, матери двоих здоровых мальчуганов (Поля тогда еще не родилась), таких дамочек — брать себе... Слишком уж тяжелая эта работа — мамыши погибших детей. Даже если дома мамашу ждал второй ребенок. Даже если женщина не вышла еще из репродуктивного возраста. Всегда это оборачивалось ходячим кошмаром на все отделение.

И вот теперь ее возили лицом по земле и принуждали вступить в когорту таких мамаш: не спать ночи напролет, выть и кататься по полу, всюду развешивать фотографии, гулять по кладбищу с цветами в руках и с дурацкой расслабленной улыбкой на лице разговаривать вслух. Воцерковиться и начать благодарить за все сами знаете кого. Нет-нет, все это не имело к ней никакого отношения!

Будучи человеком сильным, здоровым и успешным, и даже не без основания считая себя выше других, она никогда *по-настоящему* не верила, что когда-нибудь будет лежать в деревянном ящике на глубине двух метров утрамбованной земли, засыпанная сверху еще тридцатисантиметровым слоем снега, и у людей, вынужденных перетаптываться вокруг этого сугроба, будет только одно-единственное желание: еще чуть-чуть — и скорее в тепло! И тем более — что вместо нее там, на глубине двух метров, может лежать ее ребенок. Сын. Такого уж точно не должно было случиться с ней — ни при каком раскладе! Ее жизнь, избранная, неприкосновенная, лежала как на ладони — простая, ясная, просчитанная на десятки лет вперед!

Конечно, она не любила своего сына. Как не любила никого из своих детей. Она любила себя, вот ту себя — красивую, уверенную в себе стерву, которая просто перестала бы существовать, если бы очутилась там, посреди толпы взбудораженных

трагической новостью, первой в их молодой жизни, студюзов с Алёшкиного факультета, других факультетов, пришедших, чтобы так же впервые поглазеть на *это*. А ее друзья, соседи, знакомые? Они насильовали бы ее своими взглядами, искали на ее лице то, что таилось у нее внутри, — и упивались бы этим. Она, красавица и умница, не могла им этого позволить — изнасиловать себя.

Катя подошла к зеркалу и, кажется, впервые посмотрела на себя за два года, на себя, а не на пробор в волосах, не на зубы, не на трещину в середине нижней губы, которая все никак не заживала... Из зеркала на нее смотрела совершенно незнакомая личность... Напрасно она так шифровалась. Нет, не может быть, чтобы бухгалтерша Тамара Петровна узнала ее...

А еще она не пошла на похороны, потому что Алёшка попросту предал ее, так легко расставшись с жизнью, которую она ему подарила. Он единственный из ее детей был Василин, только Кирилл, тряпка, упивался вусмерть, потом опохмелялся и жил себе дальше в свое удовольствие, а Алёшки не хватило в этой жизни даже на самое малое.

Для нее никогда и ни в какой мере, так считала она, не существовало мещанской морали. Алёшки больше не было — и все. Незачем было идти на шоу под названием «похороны». И потом, было даже модно на Западе — не являться на похороны своих близких. Не провожать в последний путь, если не хочешь. Не отдавать долга! Потому что не было тут никакого долга. Тем более последнего.

М-да, это был поступок.

«Ты сука, сука, сука, сука, сука, сука!» — разряжал в нее обоим Василин, когда еще мог нажимать на клавиши. «Забыл твой номер телефона, взял у Аркадия, чтобы написать тебе, какая ты сука!» А потом приползал, плакал и целовал ей руки. И уверял, что никогда не уйдет, потому что ее любил Алёшка...

— Маленькая моя... — говорил он, как говорил ей всегда, всю их совместную жизнь. Снимал очки и брал ее лицо в свои ладони, вглядываясь безоружными глазами... А мог замазать по этому любимому лицу. Мог завалить на постель и заниматься тем, чтобы делать ей больно. Больно, больно, больно. И Катя крепилась, не кричала. И после он снова шептал: «Маленькая моя». А когда потом видел, как из ее глаз катятся слезы и как это красиво, обзывал ее шлюхой и уходил. Навсегда.

А потом снова эсэмэс: «Ты сволочь. Господи, я даже не знал, до какой степени ты сволочь. Тебе не следовало вообще становиться матерью. Будь ты проклята».

Догадка (разгадка!), внезапная, ослепительная, как вспышка, потрясла ее. Похороны! А ведь это был самый кассовый спектакль ее жизни! И она отказалась от главной роли в этой постановке, возможно, самой яркой и блистательной, какая только могла быть! Добровольно отказалась от своего триумфа!

О, она сыграла бы эту роль так, что обеспечила бы себе бессмертие. Она бы осталась в памяти целого поколения, вон тех, молодых, ничего не понимающих щенков, Алёшкиных товарищей, навечно. Они до конца своих дней не смогли бы изгнать из своей памяти сцену из этой древнегреческой трагедии (не забудьте еще Василина) и рассказывали бы о ней всем подряд, даже своим детям и внукам — про эту неземную смесь жути, красоты и смерти. И еще что-нибудь про два оттенка горя — трагедийного классицистического и подлинного человеческого, первое из которых щекочет ресницы от непонятного, неуместного восторга, а второе не в состоянии отразить на лице ничего, кроме усталости.

Но самое главное, Катини писатели и художники написали бы с нее, с растоптанной музы, новые портреты. Вот там могли бы получиться холсты и тексты, которые останутся в истории, настоящие, без лжи, без прикрас... И редкому зрителю пришло бы на ум, что растоптанная Катя — тоже игра.

Настал день, когда Катю охватила злорада. Охватила не сразу, сначала подкралась, постояла рядом, прежде чем обнаружить себя, — Катя даже не поверила: она привыкла думать, что знакома с этим чувством только понаслышке. Осторожно дотронулась, постаралась попробовать на вкус, на цвет. Но это была она. Настоящая первосортная ненависть.

Она поняла: Алексей, Человек Божий, заманил ее в ловушку своей дурацкой гибелью и похоронами, потому что, забаррикадовавшись в чужой квартире, она вычеркнула себя из той блестящей, такой необходимой ей жизни, отказалась от всего, что было завоевано — все отдала без боя, без возражений. И стала никем и ничем. Жизнь кончилась — поэтому она ждет смерти. Почему кончилась? Из-за кого? Из-за Алёшки? Но почему?! Она уже призналась, что не любила его так, как следовало. С той минуты, когда она заперла себя в четырех стенах, разве она думала о нем? Нет, о себе. И так обмануться! Она погубила себя, не заметив этого...

Как странно...

Как странно, или ей только показалось, но ее стало немного тянуть к Василину, этому жалкому пропойце, давно утратившему человеческий облик... Только Василин видел Алёшку мертвым. Только Василин помнил Катю девчонкой, той, что впервые надела белый халат, прежде чем подойти к нему, к своему первому пациенту, там, в стройотряде под Усольем-Сибирским. И в голове у нее тогда не было ничего другого, кроме танцев в пятницу в местном клубе и юбки-восьмиклинки, которую необходимо выпросить у подружки Таньки. Только он, Василин, видел ее горящие глаза, с жадным любопытством молодости рассматривающие огни дискотеки и людей, людей. И очень скоро всю эту дискотеку заслонил он, Василин, первый из лучших, потому что она собралась за него замуж.

Василин...

Катя знала его наизусть.

Стопки, рюмки, бокалы уже давно утратили свое назначение: он пил, не различая форму и содержимое, сутками. В начале запоя Василин был просто несчастным человеком, у которого трагически погиб сын. (Правда, до трагической гибели сына Василин тоже был глубоко несчастным человеком, потому что у него «все так плохо сложилось с Катей».) На второй и третий день Василин тяжело болел своей невыносимой любовью к Кате. Катя кривила губы, оттого что любовь к ней Василин формулировал как болезнь, да еще с бутылкой в руке, и она сыпала соль Василину прямо на рану: «Любовь — светлое, радостное чувство; если любовь — болезнь, то это уже не любовь», — повторяла она слова какого-то своего писателя. На четвертый и пятый день Василин напивался до полного отупения, перебирая в воспаленном мозгу все Катины измены, все ее больно режущие слова, подлости, лицемерие и эту последнюю мерзость, сказанную доброжелательным тоном сочувствующего человека (она сочувствовала ему, алкоголику, — все равно что одному из своих психов!), — и одновременно она стояла напротив него, как живая, ясноглазая, зовущая, всеми желанная красавица с нежным изгибом губ, с его кольцом на безымянном пальце. (Она всю жизнь проносила советское кольцо желтого золота; больше никак не украшала своих рук — они и так были прекрасны.) На шестой день организм Василина не выдерживал, приходилось делать паузу, но на следующий день на опустошенного физически и морально Василина нисходил философический дух: он пил обязательно с интеллектуальным собеседником, дозированно, и спорил о текстах Набокова, называя себя «набоковедом», хоть и не признанным, но экспертом, более того, он искренно полагал, что, прожив два года в Лондоне, владеет оксфордским английским,

в городе на Неве таких людей, как он, по пальцам одной руки пересчитать... Естественно, возражения не принимались, самокритика отсутствовала. Дальше, по мере возрастания градуса, разговор с великого Набокова возвращался к великой василинской любви, которая оказалась всего лишь сухой обыкновенной. Василий тут же, при собутыльнике, доставал телефон и, верный себе, строчил: «Ты сука-сука-сука-сука-сука-сука». Потом падал замертво, или его отвозили и он падал замертво — и неделю приходил в себя.

К концу недели он, шатаясь, брел к ближайшему фастфуду, а еще через пару дней шел в магазин и мог даже стготовить себе первое и второе на неделю (много ли одному надо), чтобы потом разогревать в микроволновке. По вечерам две поллитровки пива в стекле от известного производителя. Волшебный экран. Там, на просторах фейсбука, Василий просил у людей работы — почему-то обязательно с детьми и «желательно с английским языком». Никакого опыта работы ни с детьми, ни со студентами у Василина никогда не было, все друзья это знали. Это был знак, послание к тем, кто способен понять, к избранным, что его желание работать с детьми вызвано тем, что у него больше нет ребенка... Его притязания на оксфордский английский, ничем не подтвержденные, впечатления не производили — тем более что Василий периодически надолго выпадал из жизни, сводя на нет вновь созданные контакты, которые могли бы поспособствовать в поиске работы.

По воскресеньям Василий старался держаться. Только это не было связано с Господом или церковью. Просто по воскресеньям ему звонил Димон и просил прийти помочь с ремонтом, который у них в доме почему-то никак не заканчивался. Уже нечего было ремонтировать, но Димон каждый раз звонил и звал. Это радовало: все-таки Димон, так до сих пор и не узнавший толком подробностей своего происхождения, пошел не в папочку и не в мамочку. Однако заканчивал «ремонт» Василий опять-таки на бровях.

Перетрахов в отместку Кате всех Катиных подруг (он ненавидел и их, ведь они тоже поучаствовали в его судьбе: сколько раз Катя за чашкой кофе болтала с ними о своих новых увлечениях и обсуждала, разводиться с Василиным или нет, когда разводиться, и как часто его, алкоголика, допускать к детям), теперь, после смерти сына, он во второй раз вздумал пройтись по тому же порочному кругу. Смерть Алёшки потрясла всех, и уж конечно, женщины не могли отказать ему во внимании. Он приглашал их, по очереди, в ресторанчик рядом с домом. (После развода он счел необходимым поселиться в соседнем от Кати и «детей» квартале. «М-да, у него и правда поехала крыша», — покачала головой Елена, услышав об этом. «Ну, человек, который не признает себя больным, не вылечится никогда», — авторитетно ответствовала Катя, про себя торжествуя, что после семнадцати лет скандалов, рукоприкладства и выяснений отношений Василий перестанет жить в одних с ней стенах...) Василий и его спутница потягивали белое сухое вино, ели пиццу с превосходной красной рыбой, а потом он принимался излагать суть трагедии, которая произошла у него с Катей. «Она слишком заигралась», — повторял он слова из какой-то книги. Описывал похороны Алёшки и вдавался в сумрачные детали своего нынешнего состояния, из которого ему не выбраться.

— Я могу бросить пить, когда захочу. Мне совершенно не нужно подшиваться. У меня все это здесь, — говорил он и тыкал пальцем в лоб.

Гостья неуверенно кивала и все же не могла уйти, не предложив несчастному помощь.

— Брось пить. Устройся на работу. Без алкоголя тебя возьмут везде.

Надо сказать, что Василий, до того как окончательно скатиться в яму под названием «Катя» и сесть на содержание отца, владельца небольшого заводика в

Тулской области, трудился финансовым директором, носил костюмы за несколько тысяч долларов и назывался не иначе, как только Кирилл Константинович.

Некоторые из женщин даже настаивали на своей помощи: энергично рассуждали о том, что ему всего пятьдесят, у него отменное здоровье сибиряка, грех зарывать талант в землю, Господь его для чего-то держит, может, какая-то женщина уже ждет его, просто он пока этого еще не знает...

Среди подруг Кати встречались разные: иные изначально шли к Василину в постель, ресторан был только прелюдией, другие считали, что *тот единственный раз* был ошибкой, остался в далеком-далеком прошлом, и просто шли поддержать морально человека, который попал в беду, но те из них, которые оставались безмужними или разведенными (а таких оказывалось большинство), — почти все покупались на обещание Василина бросить пить и построить семью... Были среди них и такие, которых Василину *тогда* не удалось уложить в койку по тем или иным причинам, но вот *сейчас*...

И Василин сноровисто, со знанием дела, расставлял сети. Сначала они сидели друг против друга за ресторанным столиком, Василин воспламенялся, ораторствовал, читая лекцию по зарубежной литературе, потом пересаживался к своей подруге рядом, крепко, до боли, сжимал ее запястье, заглядывал в глаза (она уже верила ему всецело), спрашивал: «Ты правда мне поможешь?» — и вел себя, как ребенок — испорченный, измученный болезнью ребенок. А когда они выходили на улицу, он становился мужчиной — и добыче уже было не уйти.

Одной дурехе он даже пообещал сделать ребенка — их общего ребенка, девочку! Конечно, девочку! Он даже заплакал тогда вместе с ней!..

Все заканчивалось постелью на один раз. Потом Василин, человек эсэмэс, присылал сообщение, в котором признавался, что «все-таки Катя единственная». Если эти женщины снова появлялись на горизонте его жизни (на пороге его квартиры), желая продолжения, — пьяный, больной, он кричал им, как некогда Кате: «Прочь из моей жизни!» И выталкивал за порог.

Конечно, у Василина были и «свои собственные» женщины, никак не связанные с Катей. Одна из них была, можно сказать, постоянной, москвичка. Она завелась у Василина со времен его частых командировок в Первопрестольную. Но так у них ни до чего и не дошло, даже когда Василин освободился от уз брака: они по-прежнему гостили друг у друга по неделе, в Петербурге и в Москве, но не больше.

Всеякие они были: женщины-вамп, бизнес-леди, красотки барби с волосами до попы, простушки-разведенки, не закрывающие рта, даже студентки филфака с фарфоровыми личиками... Но ни одна из них не могла заменить Катю, и все они рано или поздно в воспаленном мозгу Василина оказывались блядами и стервами. Наверное, он подсознательно искал таких, только такие ему и были интересны — из-за Кати — так рассказывал он подвыпившим слушателям... Даже тихие матери-одиночки, преданно заглядывающие в глаза и замирающие в надежде прислониться к его плечу... Почему бы не осчастливить одну из них? Нет, в конце концов, и они оказывались точно такими же, как его разлюбленная женошка — манипуляторы даже почище нее! И всем им мстил Василин особенной, болезненной, подленькой радостью, когда шептал свое излюбленное: «Маленькая моя...»

Однако подлинная трагедия жизни Василина, о которой, возможно, он не догадывался, но которая не шла у Кати из головы, состояла в том, что и он, как она, своего Алёшу не любил. Он слишком рано появился (Василину было двадцать четыре) и при весьма болезненных обстоятельствах. Он долго сомневался в своем отцовстве, прежде чем уверовал, что Алёша его. Но даже убедившись, что Алёша его, все силы Василина целиком шли на то, чтобы оказаться лучше Арбенина, лучше Коссовича. Он занимался Алёшей так же мало, как и Катя. Все дело в том, что он полюбил Алёшу

мертвого. А уж когда он называл Алёшу ангелом, к месту и не к месту — Кате хотелось провалиться сквозь землю.

В противоположность Василину Катя не способна была питать любовь к мертвому.

Алёша, ее Заяц... Очень удобный ребенок, в отличие от Димона. Незаметный. Ничего не кланчил, не настаивал на своем, не требовал, именно ему Катя забывала по утрам, перед школой, дать десятку на пирожок в школьной столовке: он, этот мечтатель не от мира сего, забывал попросить (или не решался?) — а она забывала дать. Терпеливо дожидался обещанных подарков и легко прощал невыполненные обещания или незаслуженные обиды. Учился самостоятельно, выполняя все, что от него ожидали. Особенным его качеством являлась, казалось бы, бравшаяся ниоткуда способность радоваться — просто так, всему подряд, любой пустяк мог сделать его счастливым! Он обожал «Макдоналдс», дурацкие походы в кино всей семьей и игры в суперменов. Круглый отличник, перед ним простиралось большое будущее.

Совсем недавно, будучи дома, *как в гостях*, Катя потихоньку спросила Полю про похороны.

Поле было почти четырнадцать, и, похоже, она действительно ненавидела мать. Нет, она не жалела Катю — еще очень далеко до того возраста, в котором девочки начинают любить и жалеть своих мам. Да и что могла рассказать Поля про похороны в закрытом гробу? Ничего не видела — с некоторым злорадством сообщила она. Да, положила чипсы, и все.

Катя, в очередной раз устроившись на ковре с бокалом в руке, смотрела альбом. Но теперь оказывалось, что она смотрит уже не на Зайца, не на Селёдку — на себя молодую, на те кадры, которые были пропущены на этих страницах, и видела она то, что никто не знал о ней, — ну, может, если только Василин. И заглядывала она в себя от скуки, потому что в этом последнем зале ожидания ей нечего было делать. Ничто уже не могло ее удивить. Все пройдено, и не по одному разу. Свою жизнь она упустила: Селёдка сбежала за кордон, а от Поли она отказалась добровольно.

Катя была совершенно свободна. Абсолютно. Свобода... Кто только не писал о ней из великих. «Да уж не смерть ли это?» — вдруг догадалась она.

10

Селёдка прилетала не девятнадцатого, а двадцать второго, в среду утром...

Когда Катя гуляла, каталась в автобусах и рассматривала людей вокруг себя, прислушивалась к их дурным историям, которые они рассказывали, перебивая друг друга, она всегда, по привычке, искала у них диагнозы — и находила. Истерики либо невротики, каждый четвертый. И каждый третий — ее потенциальный клиент. Если жизнь за него хорошенько возьмется, тряхнет... И всегда в том же автобусе можно было отыскать бессловесную скотину — агнца, за счет которого перебивались все кому не лень, а он всю жизнь выгрabal за ними и, тихонько вздыхая «ничего, как-нибудь проживем» (Алёшка, как есть ее Алёшка!), в конце концов отдавал жизнь за тех других, даже не поняв этого. Жаль, что жертвоприношение было напрасно. И дело не в том, что те другие недостойны его жертвы, просто вовсе не этого им требовалось в жизни.

Кондукторы пользовались особенным ее вниманием. Это были очень своеобразные люди. Инвалиды, уроды, неудачники, они собачились с пассажирами, уклоняющимися от уплаты проезда, или, будучи на пике зашкаливавших эмоций, подшофе, во всеуслышание выражали свое мнение по тому или иному поводу или, ко всему безучастные, сидели, притулившись к развешенной на спинке кондукторского места оранжевой жилетке, но все они одинаково считали минуты до окончания

рейсов, потому что только в депо можно сходить в туалет и перекусить, и с животной тоской выжидали окончания смены, наверняка давая себе слово, что эта смена — последняя. Но на завтра выходили снова и вырывали друг у друга «бойкие» маршруты...

Глядя на них, Катя вновь убеждалась, что не только не утратила интереса к жизни, но даже сохранила вкус к ней. Как и к профессии.

Убить время — так выражался кто-то из ее знакомых по прошлой жизни. Дикость какая! Как можно его убивать, если оно составляло саму суть, завораживало больше, чем любая стихия, — и его всегда катастрофически не хватало!

Она заходила в «Пятёрочку», где в прайм-тайм перед кассой выстраивался народ. Взмыленная, покрасневшая кассирша, чуть не плача, сражалась с «программой», которая не желала пробивать товар как надо, на вызов помощника никто не отвечал, очередь прибывала, волнение усиливалось, перебранка и ругань конкретно в адрес кассирши имели, как водится, прямо противоположный эффект: несчастная уже ничего не соображала. Дрожащими пальцами снова нажимала на кнопку вызова подкрепления. Безрезультатно. Тогда она выхватывала из кармана телефон и, не попадая в нужные кнопки, пыталась позвонить, чтобы кто-нибудь из служебки вышел в зал... Катя созерцала подобные минуты жизни без малейшего раздражения, наоборот — с любопытством ученого к процессу и сочувствием к подопытному.

А еще Катя попробовала, глядя на Василина, пуститься в народ — походить по кабакам (да-да, ее влекло к нему, сомнений нет). Было интересно, способна ли она поговорить с человеком по душам — с незнакомым, который ничего не знал о ней. Послушать его сетования, посмеяться над его чаяниями, сбывшимися или несбывшимися, посочувствовать его беде, дать совет (если попросят), рассказать что-нибудь о себе... Все ли выгорело в ней? Возможно это или нет, чтобы что-то живое отозвалось внутри нее, если не пробилось наружу? Может, с новыми людьми ее ждут какие-то новые открытия?

Снова, снова Катя использовала людей.

В одном дешевеньком баре подседа к какой-то тетке без возраста — не бомжичка, нет, но едва уловимый, кислотоватый запах тления уже завладел ею. На куртке еще не было дыр, но манжеты, локти, бока вытерлись до блеска. Катя угостила тетку портвейном. Та легко выложила перед ней всю свою жизнь — разменную монету.

Был ребенок, мальчик, родился вроде здоровым, и в семье у них все здоровые, и не пила она тогда совсем, ни-ни, что вы, зачем? Муж таксовал, она переплетчица в типографии. Но... Инвалидность, а потом интернат — сил не осталось терпеть его припадки: когда его *накрывало*, мог разнести всю квартиру. Мать он уже не узнавал. Муж? Исчез давным-давно, почти сразу же, как только поставили диагноз. Мать, тетка, подруги — все как один твердили: «Сдай на попечение специалистов и начни новую жизнь, пока еще не поздно». Ей ведь было тогда всего тридцать шесть. И батюшка из церкви, отец Александр, сказал: раз не узнает мать, набрасывается на людей, то сдавайте, нет тут греха. И она сдала — ради новой жизни. Сдала — а новая жизнь так и не наступила. Почему-то не получилось. Работа — дом, дом — работа. Потом еще заболела тетка — шесть лет они с матерью по очереди дежурили у ее постели. Потом мать разбил инсульт. Обманула ее эта новая жизнь! И теперь вот ни матери, ни тетки, ни ребенка-чудовища. Если бы хоть он — было б к кому возвращаться каждый вечер... Вот и ходит она сюда, в этот притон. Потому что больше некуда.

Тут женщина некрасиво заплакала и придвинулась к Кате:

— А ты что скажешь, я предала или нет?

— Конечно, нет! Священник правильно сказал. Не думайте об этом больше.

Женщина, почему-то поверив Кате, мгновенно успокоилась. Катя заказала еще, и они выпили.

Тетка подмигнула: ей оставалось перекантоваться как-нибудь это лето, а дальше нужно устраиваться на работу — деньги заканчивались.

— Не ждите окончания лета, устраивайтесь в начале августа: больше возможностей найти стоящее место.

Глаза у тетки оживились, она заулыбалась шербатым ртом, принялась бестолково благодарить.

Была бы Катя героиней фильма, сидящая сейчас напротив нее тетка явилась бы ее спасением: она бы вытянула эту несчастную из ямы, из которой та тщетно карабкалась всю свою жизнь, и, как водится, излечилась бы сама. Хэппи-энд. Бестселлер, хотя сюжет и не нов. Однако драматизм ситуации, подлинный, закулисный, состоял в том, что эта тетка никогда не бросит пить. И работа ей нужна только для того, чтобы было на что приходить сюда. Она никому ничего не простила и на самом деле новой жизни уже не хочет и не примет. И этот задрипанный бар, больше напоминающей дешевую рюмочную, — ее последний зал ожидания.

Разговор перешел на Катю.

Катя говорила медленно, подбирала слова: дети выросли, мальчик и девочка, живут сами по себе, а ее друг овдовел, ну, они и сошлись. Тоже пока нигде не работает.

— Он при деньгах, что ли?

— Он врач. У него квартир несколько, он их сдает.

— Во подвезло-то! Богатенький наследник? Ты извини, если что.

— Нет-нет, все нормально. Это квартиры его матери. У него мамаша всю жизнь проработала в психоневрологическом интернате с бесхозными стариками, так что отхватила порядочно, — сказала Катя, не подумав.

— ?

Катя попробовала вернуться в прежнюю тональность и объяснить:

— Ну, просто есть такие пациенты, которые много лет лечатся, и врач становится для них самым главным человеком, другом, и они, бывает, оставляют квартиру ему, а не кому-то из родственников. Ведь зачастую родственники действительно бросают больного на произвол судьбы и вспоминают о нем только после его смерти.

Тетка смотрела на нее по-прежнему странно. Как будто не верила ни одному слову. (Катя и сама себе не верила в ту минуту.) Невозможно представить, что только три четверти часа назад эта самая тетка, громко шмыгая носом и размазывая по красному опухшему лицу слезы, умоляла Катю сказать, предала она или не предала своего сына, и от Катиного ответа, казалось, зависела ее жизнь.

И Катя испуганно пробормотала, враз протрезвев:

— Но есть пациенты по-настоящему одинокие, не имеющие родственников...

М-да, в последние два года она вела образ жизни, о котором мечтали миллионы в этой стране. И добрая половина ее пациентов. Просыпалась, когда хотела, шла гулять, куда хотела, занималась целыми днями, чем хотела — ничем — и при этом все ее счета оплачивались... А ведь было время, когда Катя (молодая еще) спорила, с Пал Палычем например, убеждала его всерьез, что если устроить всех пациентов в качестве реабилитации на интересную, хорошо оплачиваемую работу, — количество рецидивов сократится раз в десять, и более половины своих больных она больше не увидит... Пал Палыч ничего не отвечал, только улыбался и приглашал Катю на следующий кофе.

Ее всегда интересовали больные. Уйдут ли они от судьбы и от диагноза, поставленного ей, Екатериной Александровной, блистательным диагностом, — или все-таки нет? Смогут ли? Посмеют ли? Выкинут ли что-нибудь эдакое, чтобы все вокруг ахнули — здесь, в стенах больницы, или потом, в рассказе про очередной эпизод своей жизни... Уж слишком все было предсказуемо. Двадцать пять невротиков. Из них только семь или восемь с необратимым расстройством личности. Иногда кто-то попадал к ним случайно — раз в жизни всякое может случиться с человеком. И ни

одного буйного на отделении! Так она рассказывала друзьям и уверяла, что скучает по настоящей работе — с сумасшедшими, однако трех суицидов в год (и трех уголовных процессов с сопровождающими их шумихой, возней и истерикой в отделении) ей было вполне достаточно, чтобы будни не казались пресными.

Нет, редко кому удавалось отклониться от своего пути, вырваться из системы... Те, кто кончали с собой, одним рывком порывая с жизнью и с диагнозом, на самом деле никакие не победители.

Так что же в итоге? Неужели правда не было ничего больше в этой жизни, что оставалось бы ей неведомым? Бога она не боялась раньше — не побоится и теперь. Особенно теперь, после *остатков* ее сына, которые не идут у нее из головы — и никогда не уйдут, потому что она их не видела... Да и поздно уже бояться кого бы то ни было.

Но, может, все-таки осталось еще что-то, что способно ее задеть, захватить, закружить от восторга, как когда-то? Воспоминания? Вот разве что, пожалуй... Пожалуй, плотный прозрачный воздух, когда она открывала окно своего кабинета, выходящее в монастырский сад, после ночной смены, около шести утра — еще до того, как жизнь на подворье приходила в движение и начинали собираться к заутрене: близко-близко к ней, только руку протяни, оказывались ветки дуба, липы, рябины... И листья едва уловимо дрожали в заколдованном беззвучном пространстве, заставляя откликнуться таким же дрожанием какие-то потаенные пружины внутри нее, Кати... И кружка с горячим растворимым кофе, которую она держала обеими руками и вдыхала аромат, — иногда ей казалось, что именно в этих простых действиях следует искать ключ к жизни — к этой ужасно прекрасной тайне.

Крым. Там можно было укрыться не то что от Селёдки — Крым обладал способностью исцелять душу — так считал ее отец, так привыкла думать она сама. Тридцать часов плацкарта, выход в Джанкое, с рюкзаком за спиной выше себя и... обойти полуостров их молодости по береговой линии, как когда-то? На каком-то повороте встретиться (и соединиться) с собой — настоящей? Со своей первой любовью? Нет, не с белокурым мальчиком по имени Сергей Рада, из-за которого она некогда рыдала в три ручья в саду у подножия Карадага, а с Крымом. Они — дети, рожденные в шестидесятых, — Крым был их первой любовью. Сколько бы морей потом они ни узнавали, но когда болели — им снился Крым. Если б можно было, не оглядываясь, ни перед кем не отчитываясь, уйти с тропинки, забраться в горы, припасть к сухой земле, впитать терпкий и горький аромат трав, вдохнуть воздух тех берегов — страстный, бескомпромиссный, единственный!

Нет, если она и отправится в Крым, то уже только «туда», без обратного билета.

11

С утра Коссович дежурил в аэропорту: вылет задерживали.

Катя ждала дома, приготавливаясь к мерзости. Ей надлежало припомнить в деталях все предыдущие Селёдкины мерзости и заранее накрутить себя, чтобы в нужный момент отреагировать необходимым образом — криком, дракой, обмороком, если получится, уходом из дома — выбежать, в чем была, хлопнуть дверью на весь подъезд и не возвращаться.

Прошлогодней мерзостью стал разодранный голубь в коробке из-под торта, нарядной, с бантом, как будто только-только из магазина. Вес «торта» и запах сомнения не вызывали, разодранная птица была утрамбована остатками бисквита, кремом, сливками, цукатами. Улучив момент и схватив Катю сзади за шиворот, Настя попыталась пропихнуть кровавые ошметки ей внутрь. Из-за Коссовича у нее этого не

получилось — зато получилось смачно плюнуть Кате в лицо и попасть в глаз. В самое яблоко...

И если Кате снились кошмары, они никогда не были связаны с Алёшкой, в них она дралась с Селёдкой. Дубасила ее. Долго, отчаянно, не до первой крови — до конца. А конца все не наступало... Разнимальщик Коссович не появлялся, пробуждение тоже не торопилось. Ее спасало только то, что она почти всегда знала, что это сон.

Среди дня Коссович позвонил, ничего толком не объяснив, — проконтролировал Катю.

Вошел в квартиру он ближе к вечеру. Один. Двинулся в спальню и там, не раздеваясь, опустился на тахту.

Катя присела рядом. Она ждала мерзости. На этот раз мерзость была, а Селёдки не было. Катя гадала не что случилось, а что страшнее — так, как раньше, или так, как сегодня? Лицо Коссовича приобрело сероватый оттенок.

Катя терпеливо ждала, когда он заговорит, и думала о микроинсульте. Где лежал прибор для измерения давления — она не знала. Погладила его по руке, поближе к запястью, и попыталась незаметно нащупать пульс. Он убрал ее руку, покачав головой, и наконец произнес, с трудом выговаривая слова:

— Ты представляешь, она там, в этом идиотском Лондоне, замуж вышла. И прилетела с ним. Студент с параллельного потока, тот еще дизайнер. Видела бы ты его! — Он непонятно повел рукой. — Какой-то Джой. Или Джей. — Катя не была уверена, но ей показалось, что в его глазах блеснули слезы. — Прилетели всего на три дня, она будет показывать ему город, остановились они у матери. Мы ее больше не интересуем.

Он договорил и прикрыл глаза.

И Катя ухаживала за ним этим вечером, будто они поменялись ролями. Выходило, что никакой мерзости с Коссовичем не случилось, и ни с кем не случилось, — просто его дочь наконец пошла на поправку. Только он почему-то тихо умирал на тахте.

— Давай поженимся, — вдруг произнес Коссович поздно вечером в постели. Торшеры еще горели, и они оба как будто читали. — Мы же созданы друг для друга.

Катя осторожно завернула верхний уголок правой страницы на развороте, пригладила его указательным пальцем и медленно поискала глазами, куда бы отложить книгу. Прикроватная тумбочка оказалась вся заставлена бараклом. Она молча раздумывала о том, что сподвигло Коссовича: обе эти фразы, столь несвойственные мужчине, всегда ассоциировались у нее с весьма дурным вкусом. Впрочем, Коссович никогда не читал хорошей литературы. Некогда было. Она улыбнулась.

Коссович, человек долга, обретший сегодня наконец свободу, сказал то, что она хотела услышать. В той, прошлой, жизни. Но ведь жизнь на самом деле, она убедилась в этом, бывает только одна.

О чем тут думать? Расписаться с Коссовичем означало снова победить. И все теперь знали, что если Коссович женится, то это до гробовой доски. Но Катя не была более женщиной и не боялась остаться одной. Не являлась она более и его пациенткой — с сегодняшнего вечера.

Ему пятьдесят. Всего-то навсего. Он мог полюбить снова. Особенно теперь, когда его дитя возвратилось к жизни. Что тогда она станет делать? По-прежнему молча пить свой кофе, смотреть в книгу, не переверачивая страниц, и думать о дочери? О Селёдке? Об Алёшке? Но она должна была сказать «да». Ей хотелось сказать «да». Ему хотелось, чтобы она сказала «да». Ни с кем ей не было так хорошо и покойно. Ни ради кого он не опускался так низко. В конце концов, это было бы даже логичным завершением их истории — пожениться.

Она сказала ему «да» мысленно, улыбнувшись одними глазами, и поняла, что он понял. Вот так «да», без слов, без вскриков, без объятий и поцелуев. Но она взяла его за руку и пожала ее.

Ничего не случилось. Все оставалось по-прежнему. Наталья и Алёшка давно уже сравнялись с землей и стерлись из памяти. Где-то там, в рюмочных и кабаках вокруг Лесной, наматывал свои круги ада Васи́лин. Селёдка и Поля, каждая по-своему, в одиночку, вступали в схватку с жестоким, бездушным миром, учились держать удар, сливались с ним, с этим миром, в яростной борьбе, торжествовали, когда думали, что прогнали его под себя, скулили, когда становилось больно. Задача Кати была оставаться в тени и ничего не испортить ни той, ни другой, а задача Коссовича — оплатить им последствия их неудач.

Кате предстояло покончить с миром съемных квартир и с парой чемоданов, на одном из которых до сих пор красовалась наклейка дублинского перевозчика, — завершить тот тур, в который она отправилась однажды майским днем. Перестать быть странницей, у которой нет ничего своего, как у больной, поступившей в стационар с улицы по «скорой», которой соседки по палате одалживают то шампунь, то мыло, а нянечка — халат и тапки, — и потихоньку стать в этом доме хозяйкой.

Она снова научится вскакивать с постели по утрам, облекаться в китайский шелковый халат, бежать на кухню готовить мужу завтрак. Вставать на цыпочки, чтобы достать с верхней левой полки геркулес, потом открывать нижнюю дверцу холодильника и наклоняться за бутылкой молока, проворно наливать апельсиновый сок в хрустально-прозрачные стаканы, не забывать оставлять молока Коссовичу для чая — Селёдка приучила его пить на английский манер. Ходить в магазин, аптеку, на рынок у станции. На родительское собрание в школу. Она станет как все.

Димон, Арбенин, оба респектабельные и благообразные, никакого отношения к ней нынешней, настоящей, как это ни странно, как ни удивительно, не имели... Все остальные люди, бывшие в жизнях Кати и Коссовича, у которых они, увы, только брали, ничего не давая взамен, обманывали, предавали, — тоже. Но вот они, Катя с Коссовичем, лежали в одной постели, рука в руке, и, что бы там ни говорили моралисты и правдоискатели, как бы ни поражались случившейся с этими двумя несурзнице, действительно были созданы друг для друга.